

Махаммад Реза-Байрами

Жертвы заветного сада



Иранский бестселлер

Иранский бестселлер

Махаммад-Реза Байрами
Жертвы заветного сада

«Садра»

2009

УДК 821.21-3
ББК 84(5Ирн)

Байрами М.

Жертвы заветного сада / М. Байрами — «Садра»,
2009 — (Иранский бестселлер)

ISBN 978-5-4444-1807-9

Данная книга столь же близка к реальности, как горный леопард к месяцу на небе. Все упоминаемые в книге события, места, имена и персонажи являются вымышленными, даже если они кажутся реальными и если история зафиксировала их под точно такими же наименованиями.

УДК 821.21-3
ББК 84(5Ирн)

ISBN 978-5-4444-1807-9

© Байрами М., 2009
© Садра, 2009

Содержание

Предисловие переводчика	6
Жертвы заветного сада	10
1	10
2	23
3	36
4	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Мохаммад-Реза Байрами

Жертвы заветного сада

© Фонд исследований исламской культуры

© ООО «Садра», 2014

© Издание на русском языке ООО «Издательство «Вече», 2014

Предисловие переводчика

В романе «Жертвы заветного сада» рассказывается об Азербайджанской демократической республике, существовавшей на территории Ирана в 1945–1946 гг.

Поскольку не все читатели знают об этой республике (да и в среде профессиональных историков это недолго просуществовавшее образование не столь уж известно), требуется сказать несколько пояснительных слов.

В июне 1941 г Германия напала на Советский Союз, а вскоре, в августе 1941 г., советские войска были введены в Иран с севера, с юга же вошли в страну англичане, и была осуществлена так называемая операция «Согласие» для предотвращения появления в Иране германских войск и для снабжения СССР англо-американскими союзническими поставками.

Поскольку «арктические конвои» подвергались регулярным атакам германских субмарин, а снабжение через Дальний Восток было и далеким, и также небезопасным, то этот южный «транспортный коридор» оказался весьма важным для союзников по антигитлеровской коалиции. Другое дело, что пролег этот путь по территории суверенной страны, Ирана, правительство которого во главе с Реза-Шахом в начале Второй мировой войны имело скорее прогерманские, чем проанглийские или пророссийские симпатии...

Факт пребывания в Иране советских и англо-американских войск известен всем, так же как и факт проведения конференции Большой Тройки в Тегеране в 1943 г. А вот то, что во время Второй мировой и сразу после нее произошла «советизация» некоторых северных областей Ирана, – это, как уже говорилось, известно меньше.

Факты таковы: осенью 1945 г. была провозглашена не просто автономия, а фактически независимость Азербайджанской демократической республики от тегеранского правительства; правительство попыталось подавить движение за независимость, но посланные на север шахские войска были остановлены Красной армией, всё еще находившейся в Иране. К середине 1946 г., однако, вывод советских войск завершился, и теперь шахские войска двинулись на подавление уже с куда большей уверенностью. Руководители республики попытались организовать некий «фронт сопротивления», и эти лихорадочные усилия, как и их провал, описаны в романе.

Вожди республики, Пишевари и Бирия, бежали в СССР; бежали и многие другие, поскольку граница была открыта больше недели. Но не все успели пересечь границу, и молодой шах Мухаммад-Реза Пехлеви во время жестокого разгрома Азербайджанской республики уничтожил, по некоторым оценкам, десятки тысяч человек. Все эти события представляют собой документальный фон романа, на котором показана частично вымышленная фигура главного героя – диктора республиканского радио по имени Балаш. Как идеологический работник, он также находится под ударом шахских карателей, поэтому спешит в сторону границы и несет с собой полутородавого сына. Но границы он достигает уже тогда, когда ее закрыли, и возвращается на иранскую территорию: ему предстоят все «круги ада», которые проходили и другие оставшиеся в Иране члены демократического движения.

Если бы Байрами ограничился в книге линией Балаша, то она была бы политическим или историко-политическим романом. Но есть в романе и линия сугубо художественная – это рассказ о юноше, которому в 1963 г. исполняется 17 лет. Он сирота, вырос в деревне, в приемной крестьянской семье, и все говорят ему, что он – сын какого-то бежавшего через эти горы революционера, который в 1946 г. то ли бросил полутородавого младенца, то ли сам был убит, а ребенок остался жив. Действительно ли юноша – сын того самого диктора радио Балаша, автор пока умалчивает, это станет известно, видимо, в следующих частях трилогии (роман «Мертвецы зеленого сада» представляет собой лишь первую часть объявленной автором и издателями трилогии об Азербайджанской республике).

Здесь несколько слов необходимо сказать об авторе, Мухаммаде-Резе Байрами (р. 1965 г.). Он – известный иранский писатель того поколения, которое вошло в литературу уже после Исламской революции 1978–1979 гг.; два перевода его рассказов на русский язык были опубликованы в двухтомной антологии «Современная иранская проза» (Санкт-Петербург, 2010).

Все писатели, включенные в эту антологию (21 имя), были названы в издательской аннотации «авторами поколения Исламской революции». Это действительно так: Байрами начал печататься в конце 80-х гг. XX века и на сегодняшний день опубликовал более 30 книг. В основном это книги для подростков, повествования об исламской революции и ирано-иракской войне. Не все они равны по своей художественной ценности, но автор всегда очень мастерски и с большой любовью к деталям показывает деревенский быт. Такова, например, повесть «Ветры осени» – спокойный, как осенние холода, рассказ о периоде уборки урожая в иранской деревне. Заготовки на зиму зерна, овощей идут своим чередом, но из города приходят всё более тревожные вести о разгорающейся антишахской революции...

Повесть, начатая неспешно, заканчивается, как революционный боевик для юношества. В деревню прибывают шахские жандармы, разыскивающие уклоняющихся от призыва в армию, начинаются аресты, перестрелки, активное участие в борьбе принимают мальчишки – герои повести. Заканчивается всё в целом удачно, как и должно быть в произведениях для юношества...

И в романе «Мертвецы зеленого сада», в описаниях деревенской жизни, мы снова встречаем то же неторопливое и любовное внимание к деталям быта; так сказать, «труды и дни» юного пастуха. Кроме того, присутствует мистический момент: этот юноша слышит в степи чьи-то голоса, а затем, уже во второй части романа, начинает встречать некоего призрака – по видимому, это призрак его отца...

Теперь хотелось бы вернуться к истории Азербайджанской республики 1945–1946 гг. и задать тот же вопрос, ответ на который мучительно ищут и герои романа. Почему СССР «предал» эту республику? Почему Сталин вывел из Ирана войска в 1946 г. и практически никак не протестовал против того террора, который развязали в иранском Азербайджане шахские власти?

Ответа герои романа так и не находят. Каким же видится этот ответ нам, сегодняшним? Во-первых, как уже говорилось, одной из причин введения советских войск в Иран была опасность появления там войск немецких. Когда война окончилась, причин оставаться войскам больше не было. Во-вторых, нужно принять во внимание тяжелейшее внутреннее положение в СССР после войны: в стране была разруха, нищета, не до введения войск на новые территории...

Кроме того, в событиях тех лет, скорее всего, проявилось не афишируемое сотрудничество, все еще существовавшее между СССР и США в послевоенные годы. В книге Л.М. Млечина «МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России: от Ленина и Троцкого – до Путина и Медведева» (М., 2011) содержится предположение о том, что вывод советских войск из Ирана в 1946 г. был результатом компромисса, в соответствии с которым Америка одновременно вывела свои войска из Китая.

Нельзя, конечно, утверждать, что произошел в буквальном смысле обмен, т. е. Америка «отдала» СССР Китай, а Советский союз Америке – Иран. Это было бы упрощением. Но нельзя утверждать и то (как это делают некоторые герои романа Вайрами), что СССР отдал «просто так» свое влияние в Северном Иране. Нет, СССР получил кое-что взамен, а именно – упрочение власти коммунистов в Китае. Но от этого, конечно, было не легче тем членам демократического движения в Азербайджане, которые попали под удар шахских репрессий...

Вот цитаты из того донесения, которое в истории называют «длинной телеграммой», по аналогии со знаменитым посланием американца Джорджа Кеннана – это отправленная 27 сен-

тября 1946 г. шифрованная телеграмма в Москву нового посла СССР в Вашингтоне Николая Васильевича Новикова (он вручил верительные грамоты Трумэну 3 июня 1946 г.) (цитируется по: Млечин. Указ. соч. С. 253):

«Американская политика в Китае стремится к полному экономическому и политическому подчинению его контролю американского монополистического капитала... В настоящее время в Китае находится свыше 50 тыс. американских солдат. В ряде случаев американская морская пехота принимала непосредственное участие в военных действиях против народно-освободительных войск... Китай постепенно превращается в плацдарм американских вооруженных сил. Американские воздушные базы расположены по всей его территории... В Циндао находится штаб 7-го флота...

Жесткая политика в отношении СССР, провозглашенная Бирнсом после сближения реакционных демократов с республиканцами, является сейчас основным тормозом на пути к сотрудничеству великих держав. Она состоит главным образом в том, что в послевоенный период США не проводят более политики укрепления сотрудничества Большой Тройки (или Четверки) и, наоборот, стремятся к тому, чтобы подорвать единство этих держав. Цель, которая при этом ставится, состоит в том, чтобы навязать Советскому Союзу волю других государств...»

Как видим, озабоченность советского посла ситуацией в Китае велика, а тон его телеграммы граничит с истерическим. Вероятно, похожими были настроения в руководстве СССР: ведь донесения часто отражают мнения не тех, *кто* их посылает, но тех, *кому* их посылают (как бы предугадывая желания последних)...

И все-таки факт остается фактом: американцы свои войска из Китая вывели. Почему? Видимо, сыграл роль весь комплекс политических факторов тех лет, а в этом комплексе, как уже было сказано, немалое значение имела инерция сотрудничеств, компромиссов и т. д. Во всяком случае, неправы те, кто говорит, что СССР вывел войска из Ирана лишь потому, что Трумэн «пригрозил ядерной дубинкой». Если бы американцы столь непоколебимо уверены были в силе этой своей «дубинки», разве повели бы они себя так, как повели в Китае, да и в других частях света?

... Впрочем, всё вышесказанное – это, так сказать, взгляд из России, точки зрения российских историков, политиков и писателей. Однако в самом романе читатель встретит несколько иные взгляды и отношения к происходившему тогда в Иране. Он узнает об отношении к делу самих иранцев, и вот в этом-то, конечно, и заключается главный интерес романа для российского читателя.

Переводчик надеется, что российский читатель, взявший в руки эту книгу и дочитавший ее до конца, не пожалеет об этом. Также мне хотелось бы выразить сердечную признательность «Фонду исследований исламской культуры» – иранскому фонду, расположенному в Москве, – и его директору, доктору Хамиду Хадави. Именно благодаря их моральной и материальной поддержке я смог выполнить этот перевод.

Особенная благодарность – Джахангиру Хабибулловичу Дорри, известному лингвисту и литературоведу, иранисту, взявшему на себя окончательную редакцию текста моего перевода. Он – иранец по национальности, его отец был членом Меджлиса Ирана, так что языком Джахангир Хабуллович владеет блестяще и определенные языковые нюансы перевода он улучшил. Но уже само его участие в работе над текстом может и должно являться предметом гордости как переводчика, так и всех, кто готовил эту книгу к печати.

И российскому читателю должно быть ясно с самого начала: в книге, в силу коллективности труда над ней, не содержится никаких вольностей перевода; читатель получает литературный продукт, стопроцентно соответствующий оригиналу. И мы пожелаем переводу книги на русский язык долгой жизни и читательского успеха.

А.П. Андриюшкин

Жертвы заветного сада

Я не видел ни одного животного, которое не чувствовало бы, что такое жалость и сострадание. А ведь я не животное.

1

Всегда именно так и бывает. Я говорю о выборах. До них и после них чего только не случится, и никуда не денешься. Так уж суждено. Это как дым от далекого огня – очень далекого, но дым виден всем. Так и выборы. Может, если бы не они, и Кавам не нашел бы предлога вмешаться в дела Азербайджана, и газета, радио не развили бы столь бурной активности и не нуждались бы в таких людях, как Балаш. Сель двинулся, и его было не остановить. Хотя и говорили, что армию вводят лишь для наблюдения за выборами, во избежание фальсификаций. А в политику, дескать, вмешиваться она не будет. Где это, мол, видано, чтобы войска вмешивались в политику? Войска войсками, а политика политикой. Иначе солдат называли бы политическими деятелями, а политиков солдатами.

Балаш старался, как мог, жалеть, щадить отца. Именно поэтому он предпочел бы больше работать в газете, а не на радио. Но передачи были популярны, и его голос, его самого узнавали во многих городах. Относились с большим уважением, и друзей у него появилось много благодаря радио. Самых разных друзей – от простых людей до начальствующих. Всякий раз, когда в студию приезжали Пишевари или Бирия¹, именно он предварял их речи или говорил что-то после, например читал стихи. И оба вождя к нему хорошо относились, особенно Бирия, который и сам писал стихи, а выступления его вызывали у народа ответные чувства. И Пишевари знал, что Балаш не только на радио работает, но и в газете «Азербайджан», и вел себя с ним как с коллегой-журналистом:

– ...Когда я вышел из тюрьмы, я пытался попасть в меджлис. Но власти не признавали моих прав. Не позволили мне представлять граждан Тебриза, испугались. Тогда я обратился в разные газеты, начал позорить и бесчестить их. Когда стал издавать «Ажир», то половину материалов своей рукой приходилось писать под разными именами. Некому больше было. Такие вот «вести с мест», как ты сейчас делаешь, и я их делал. В отличие от Дузгуна, который держится как падишах, и в каждом отделе свой ответственный, а главный редактор только царит надо всеми. Нет, я, засучив рукава, делал всё, что нужно было...

Так они беседовали, а Чашм-Азар слушал и усмехался. Всякий раз, когда по радио выступал Пишевари, неподалеку от него в студии сидел Чашм-Азар. Иногда он советовал Балашу, какими стихами предварить речь вождя или какую вводную информацию дать, чтобы усилить действенность выступления. А иногда ничего не говорил, доверяясь Балашу, и тогда тот сам выбирал, что прочесть; например, это могли быть новые стихи того же Бирии:

*На эту площадь я не вышел ради славы,
Ни для величья, или блеска, иль наживы.
Народ мне дал права. И для народа
Готов я голову на плаху положить.*

¹ Сеид Джафар Пишевари (1892–1947) и Мохаммад Бирия (1914–1985) – революционеры, деятели азербайджанского национально-освободительного движения.

Итак, это была его работа. Правда, работа, отличающаяся от других, она ставила Балаша в особое положение. Например, иногда извозчик или кто-нибудь из случайных собеседников на улице вдруг начинал вслушиваться в его голос, смотреть на него вопросительно, а потом прямо спрашивал: «Послушай-ка, не ты ли читаешь по радио эти стихи?»

Конечно, работа его не сводилась к чтению стихов или героических баллад-дастанов, но это было то, что больше всего любил простой народ, особенно баллады о Саттар-хане, Багир-хане, о шейхе Мохаммаде Хиабани² и о других героях азербайджанской истории, вроде тех, о ком повествует поэма «Асли Карам». А как любили дастаны о Кёр-оглы!³ Порой он читал из старинной азербайджанской поэмы «Китабэдеде Коркуд»⁴ – ей были сотни лет, и повествовали ее стихи о мужестве и чести, о защите отечества и о старинном народе огузов, которых многие в Азербайджане считали своими далекими предками. Когда Балаш говорил, что великий греческий поэт Гомер, создавая свою «Одиссею», использовал именно поэму «Деде Коркуд», слушатели-азербайджанцы приходили в восторг от гордости за свою культуру. Именно этого требовал от него Дузгун, это требовалось и партии. Показать, что в Азербайджане есть всё, а коли так, то что за нужда в центральных властях? Тем более что центр установил блокаду и не пропускает в провинцию даже зерно. Иногда героические дастаны Балаш читал с чувством, а о голосе его говорили, что он производит очень сильное впечатление:

*Ударь по струнам так, чтоб искры полетели,
Чтоб пламенем борьбы все земли заалели!
Чтобы услышал и глухой
И чтоб заговорил немой.*

Дузгун дал ему полную свободу, как готовить и вести программы. И не уставал хвалить его. Говорил: я в тебе не ошибся. Именно такой человек, как ты, нам был нужен. Доброта главного редактора даже порой казалась Балашу чрезмерной, неловко было от нее.

Между тем политическая обстановка резко изменилась. Центральное правительство в Тегеране решило провести общенациональные выборы в меджлис 15-го созыва. А вокруг выборов столько было всего... Оно объявило, что на выборах будут наблюдатели от центра по всем регионам страны. И хотя Азербайджан имел автономию, он тоже был частью Ирана. Следовательно, не должно было возникнуть возражений против ввода войск и против того, что они возьмут ситуацию под контроль: ведь целью этого было лишь наблюдение за выборами, в остальном всё оставалось по-прежнему. Такие объяснения звучали убедительно. Некоторые, правда, протестовали, но в конце концов решено было так, что бороться с этим не стоит, чтобы не давать лишних козырей в руки центральным властям. Руководство партии заявило, что сопротивление вводу войск будет означать войну, а потому нас никто не поймет в мире, который только что пережил Вторую мировую войну. Идея войны, будь она даже внутренней, – как они испробовали год назад, – привела всех в ужас. Еще так аргументировали: если мы не позволим Каваму ввести войска для наблюдения за выборами, они откажутся от самих выборов. Не признают законность выборов в Азербайджане и легитимность наших представителей в национальном меджлисе.

² Саттар-хан (1867–1914) – выдающийся деятель Конституционной революции в Иране 1905–1911 гг., народный герой Ирана. Багир-хан (1862–1916) – сподвижник Саттар-хана, народный герой Ирана. Шейх Мохаммад Хиабани (1880–1920) – руководитель Тебризского восстания 1920 г.

³ Кёр-оглы – герой эпоса, распространенного у азербайджанцев и других народов Ближнего Востока и Средней Азии. В образе Кёр-оглы воплотился народный идеал справедливого правителя, бесстрашного богатыря-тираноборца.

⁴ Эпос «Китабидеде Коркуд» окончательно оформился в Средние века. Древний азербайджанский вариант некоторых вошедших в него сказаний послужил источником, на основании которого возникли одноименные поэмы у других народов, например у армян, грузин, курдов, аджарцев, турок.

На таком фоне пришли новости о том, что войска центрального правительства с пушками, пулеметами и американскими танками выдвинулись к Казвину, на границу с Азербайджаном. С азербайджанской стороны главнокомандующим федаинами был назначен Гулам Яхья, причем ходили слухи, что всё, что у него есть из вооружения, это два миномета в разобранном виде и две 75-миллиметровые пушки – они вроде были исправны, но снарядов к ним не было.

Но, как говорится, «смерть осла для собаки праздник»!

Новостей, самых горячих и свежих, было кругом полно, только собирай. И Балаш решил взять отпуск с работы на радио на несколько дней и поехать к войскам, разнюхать, что к чему. Дузгун его отпустил, напутствуя так:

– Смотри, береги себя! Репортеров у нас хватает, а вот такого голоса, как у тебя, больше нет! Голос – это главное у тебя, помни об этом!

И вот Балаш сидит в грузовике «Мак», везущем взвод федаев в Кафеланкух. Несмотря на то что не собирались воевать, но на всякий случай там создавалась линия. От Кафеланкуха недалеко до Миане, у Балаша там, в Миане, был друг, глава городского банка. Спокойный и рассудительный человек, проживавший на квартире недалеко от банка. Жена его – само гостеприимство, и куча детишек, причем вроде бы одни девочки. Месяцем раньше Балаш провел у них вечер – единственный, но получил столько доброты, как если бы неделю гостил. Так укрепилась их дружба. И Балаш решил по дороге в Зенджан и далее в Казвин заглянуть к своему другу в Миане, узнать, как дела, тем более сначала было решено, что и грузовик направится в партийный комитет в Миане, чтобы взять какой-то груз. Начался декабрь: фактически уже зима. Ледяной ветер продувал Миане насквозь. Ветер со стороны Ардебилля, приносящий холод гор Себелана. В нем чувствовалось дыхание снега, который, вероятно, скоро пойдет и в Миане.

Спрыгнув с грузовика, Балаш направился прямо в банк и нашел своего друга – Элтефата – в расстроенных чувствах. Они обнялись и сели выпить чаю.

– Что с тобой, Элтефат? – спросил Балаш. – Что такой мрачный?

– Да я прямо сам не свой, – отвечал тот.

– А почему? Что случилось?

Элтефат взглянул с изумлением.

– Это ведь ты в центре новостей! Ты должен знать больше моего! Но всё ведь разваливается. Ведь началось вторжение в Азербайджан. Тегеранские газеты бьют в барабаны.

И он начал читать со второй страницы одной из этих газет:

Так же, как Кавам эс-Салтанеу во время своего предыдущего срока правления, смог справиться с Исмаилом Смитко⁵, которого поддерживали из-за рубежа, и вернуть спокойствие Азербайджану, так и сегодня он сможет положить конец смуте, с той разницей, что на этот раз его Амир-Аршад – это генерал Размара.

– Когда говорится об Амир-Аршаде, – рассуждал вслух Элтефат, – имеется в виду Амир-Аршад Гарадедаж Хаджи Али-Лу, также известный как Сам-хан. Он в бою под городом Хой разгромил отряды Смитко и мог бы убить самого командира, но тот был застрелен своими же. Говорили, что его застрелил Кербелаи Али-хан, он же «полковник Нахичеванский», по приказу русских. Это было после Первой мировой войны, лет двадцать – двадцать пять назад.

Элтефат бросил на стол перед Балашем газеты «Кейхан» и «Этелаат».

– Почитай, что они там пишут!

...Шах заявил о непримиримой борьбе с сепаратистами, и Кавам также дал слово безотлагательно решить азербайджанскую проблему...

⁵ Исмаил-ага Смитко (Симко) (1887–1930) – лидер курдского национального движения, в 1922 г. провозгласил себя королем «независимого Курдистана», сформировал правительство. Убит в 1930 г.

Балаш бегло просмотрел заголовки первых страниц и пожал плечами:

– Пустая болтовня, я так считаю. Я не думаю, что они нападут. У нас же договор. Они согласились с принципом автономии. Вопрос только в выборах и ни в чем ином.

– А зачем все эти войска в Казвине?

– Если они даже введут войска, репрессий не будет, а если бы они решились на репрессии, то генерал Дерахшан и ответит тем же самым. Разве он не объявил, что армия не будет вмешиваться ни в вопросы автономии, ни в госуправление? Да если бы и захотели, не смогли бы вмешаться: у них всего одна дивизия, а здесь – партия! Сегодня у партии сил неизмеримо больше, чем было вначале, когда, действительно... Помнишь, с чего всё началось?

– А что ты скажешь об инциденте в Резайе и о полковнике Зангане? О базе в Ардебиле? Там ведь действовали не так, как Дерахшани. Говорят, в Ардебиле, когда партия одержала победу, двух сержантов вывели за город и там растерзали, втоптали в землю за то, что обороняли базу до последнего. Ты думаешь, если центральное правительство вернет себе власть, оно не отомстит за это? Да, Кавам говорит, вводим войска лишь как наблюдателей. Но почему мы ему должны верить?! Разве сонному чабану можно доверить стадо?

– Я смотрю, ты пессимист закоренелый, – сказал Балаш.

Но Элтефат не унимался:

– Этот Кавам – лисица, каких поискать. Попомни мое слово: они нападут и умоют нас кровью! Такую армию не собирают ради выборов. Для порядка на выборах хватило бы полиции и жандармов. А феодалы что, не могли бы его обеспечить? Говорят, что сегодня Тебриз безопаснее Тегерана. Разве не так? Те, кто столько времени поддерживал спокойствие во многих городах, неспособны один день охранять порядок на избирательных участках?

– Не забудь, что во время выборов обязательно обвиняют друг друга в фальсификациях. Вот они и хотят своих наблюдателей поставить, в противном случае подозревали бы нас в подтасовках.

– Но это ведь предлог!

Балаш рассмеялся.

– Допустим, предлог, и они попытаются начать репрессии. Что тогда будет? Почему ты думаешь, что они победят и умоют нас кровью? В Азербайджане что, мало народа? Двадцать тысяч феодалов, готовых пожертвовать собой, на своей территории – они не смогут остановить Размару? Да, оружия у нас мало, но с этим-то северные товарищи помогут.

– А я бы на них так уж не надеялся, – возразил Элтефат. – Кавам только что вернулся из Москвы, разве можно исключать, что он заручился согласием ваших «товарищей с севера»?

Да, это был настоящий пессимист, сомнений не было. Балаш сказал:

– Нет, чтобы они предали нас и нашу революцию, это невозможно себе представить. Если они это сделают, всё прогрессивное человечество им плюнет в лицо. Советская власть не продаст нас реакционерам. Не такова ее мораль. Отдать пролетариат, трудящихся на закланье буржуазии?

В те времена такие термины были на устах у всех, и два друга долго еще спорили, затем Балаш отправился в горком партии, чтобы там с первой же попутной машиной выехать в восточном направлении. У него не было партийного билета, но имелось солидное рекомендательное письмо, открывающее ему все двери, так чтобы он мог обо многом узнать и подготовить хороший репортаж.

В комитете партии он с удивлением обнаружил, что никто в сторону Зенджана ехать не собирается. Значит, придется остаться здесь на ночь. Возвращаться к Элтефату не хотелось: и так уже гостеприимством злоупотребил, стыдно. И вроде бы именно здесь, именно в этот вечер он узнал о том, что центральные власти объявили ультиматум руководству провинции Азербайджан: в двадцать четыре часа сложить оружие. Так что же произошло в действительности? Он ничего не понимал.

Всю эту ночь в комитете партии не затихало движение. Звонили телефоны, врывались посыльные, машины въезжали во двор и уезжали куда-то. Ясно было, что происходит что-то важное, а у него об этом не было никакой информации.

Рано утром Балаш проснулся от грохота взрыва – и уже не мог заснуть. Подошел к окошку – ничего не видно. Окна запотели, на улице было очень холодно. Он вышел во двор. Прямо так, с накинутым на плечи одеялом, подошел к часовому возле ворот.

– Что случилось? Что это был за взрыв?

Часовой смотрел на него с изумлением. Во дворе развернулась машина с включенными фарами и подъехала к воротам – на выезд. Часовой пошел открывать ворота, и машина быстро унеслась. Часовой вернулся к Балашу и опять смотрел на него так, будто видит перед собой призрак.

– А ты откуда появился?

– Я в казарме спал, – ответил Балаш, – в караулке. И проснулся от взрыва.

Подозрительность часового возросла.

– В нашем караульном помещении? А что ты делал у нас?

– А что делают в казарме? Отдыхают. Я спал там.

Часовой одной рукой оттолкнул Балаша, а вторую положил на затвор винтовки, которая висела у него на плече дулом вперед. Похоже было, он из тех вздорных людей, которым поручи любое дело – они отца родного не пожалеют. Столь смертельно серьезно относятся ко всему.

– Я тебе задал вопрос, кто ты такой, а ты мне говоришь, что спал в казарме. Плевать мне на то, что ты спал! Зачем вообще ты спал у нас?

Тут Балаш понял, что часовой не осознает, кто перед ним. Тогда он представился и объяснил, что вчера с вечера он остался, чтобы здесь переночевать. На посту был кто-то другой, и этот часовой ничего о нем не знал. Теперь же, когда личность Балаша выяснилась, часовой подобрел.

– То-то я смотрю: ты мне чем-то понравился! Значит, голос твой мне был знаком...

Вот так «понравился» – как же он ведет себя с теми, кто ему не «нравится»? Балаш был рад, что всё так хорошо разъяснилось, но с нетерпением следил за губами часового, ожидая, когда тот закончит рассypаться в любезностях и ходить вокруг да около и вспомнит, наконец, о чем у них была речь. А тот словно бы вовсе не понимал, что все его слова – не то, чего ждет от него Балаш, что тому нужна одна-единственная справка, и вот, наконец, поняв, что может ее не дожидаться, Балаш прервал часового:

– Так ты мне не ответил. Что это был за взрыв?

Но на эту тему говорить для часового словно было лишено всякого смысла, или выгоды, или даже вкуса, и выражение его лица снова изменилось на серьезное, и он очень холодно и резко ответил:

– Не знаю!

И Балаш – шагая от него прочь по двору – ворчал про себя: «Так что же, трудно это было сразу сказать?!»

Но мог ли он теперь вернуться в казарменное помещение – так и не поняв, что же происходит? Да и весь сон как рукой сняло. Зачем он тогда притаился в такую даль? Ведь Дузгун...

Он посмотрел на окна комитетского здания. Свет в штабе обороны горел, и оттуда слышались голоса. Балаш подождал и увидел, что во двор выходят какие-то люди. Вроде бы двое из них куда-то отправлялись. Один побежал в конюшню выводить лошадей, второй принес два седла, одновременно не переставая кивать словам третьего – видимо, своего начальника. Кивал и говорил: «Слушаюсь. Слушаюсь». А тот всё продолжал давать указания. Что, мол, вручить только лично, только в руки, и вернуться до полудня, потому что потом нужно будет обязательно ехать в Ноурузабад – им обоим, а может быть, ему одному. Потому что вот там-то перерезана телеграфная связь. И обязательно нужно взять подпись, личную подпись полу-

чателя. А тот всё: «Слушаюсь!» – и не двигался с места. И еще раз: «Слушаюсь!» – «И коней не загубите ни в коем случае!» – «Слушаюсь!» – «Коням этим еще много предстоит работы». И опять: «Так точно! Слушаюсь!» И вот в эту горячку распоряжений вклинивается Балаш и обращается к начальствующему, хотя вроде бы ясно же...

– Товарищ федай! Что это был за взрыв, скажите, пожалуйста?

Тот, едва взглянув, ответил, что это за городом, и продолжал давать свои указания, а солдат всё отвечал: «Так точно! Слушаюсь!»

Но и Балаш не сдавался:

– Но взрыв был большой силы, товарищ. Это ведь не мог быть орудийный или минометный выстрел.

– Товарищи взорвали определенный объект.

И опять указание за указанием, и опять: «Так точно! Слушаюсь!» А тут уже и лошади были оседланы, и вот в эту чертову холодину... Из лошадиных ноздрей валил пар и поднимался к решетчатому фонарю, и фонарь был похож на холодный месяц в тумане, хотя и не очень похож...

– А куда едут товарищи федаины?!

Здесь словно бы нить разговора прервалась, а может быть, даже сама нить управления, потому что начальник повернулся всем корпусом к Балашу и так смотрел, помаргивая, что тот вынужден был подтянуться, почувствовав себя смущенным. В этот момент он понял, что хотя и говорят, что сущность репортерства – в смелости, но все-таки нельзя ее путать с бестактностью, с тем самым, чего у него, вообще говоря, не было или было в очень малом количестве, да он обычно и не нуждался в чем-то подобном. И он подумал: в конце концов, что мне задело? И вспомнил Дузгуна и его одобрения, и напомнил сам себе, что нельзя быть неблагодарным. И он решил продолжить разговор с товарищем начальником, который ответил ему: «В Зенджан!» – ответил таким тоном, что это означало: «Отвяжись, пожалуйста. Скройся с глаз, пропади пропадом!» Но можно ли было отступить? А как же напутствие Дузгуна, да и вообще, он выполняет работу репортера, не более того. В ней нужна настойчивость... И нужно все-таки разобраться!

– Но зачем это было взорвано, товарищ федай?

И вот тут уже в буквальном смысле взорвался сам его собеседник, так, что его крик не уступал взрыву:

– Да отстанешь, ты, наконец? К чертовой матери! Что ты вцепился в меня, как клещ?!

В этот миг открылась дверь штаба и появился еще один человек, говоривший на азербайджанском с гилянским акцентом:

– Что случилось, Кази?⁶ Зачем шум такой? Перепутал с фронтом? Но здесь тебе не Кафеланкух!

Кази – очень скоро, уже после его смерти, выяснялось, что это его имя, а не должность, – ответил, указывая на Балаша:

– Простите, господин полковник Газиян! Корреспондент газеты «Азербайджан» совсем меня замучил. Здесь черт ногу сломит, а он в этой суматохе, как следователь, терзает меня!

Полковник Газиян рассмеялся. Глядя на Балаша, он ответил Кази:

– А что поделать – у него тоже своя работа. Смотри, как он рано проснулся! Это значит, есть чувство ответственности за порученное! Вот и мы, если бы не спали, враги не дошли бы до границ Азербайджана! Могли бы остановить их на перевале Кухин, а теперь, думаю, и на перевале Шабали не остановим. Считай, до самого Тебриза дойдут.

⁶ Примечание автора: этот персонаж – вымышленный (как и большинство действующих лиц в романе), хотя в реальности существовал Махмуд Кази Асадаллахи, командовавший двумя частями федаинов в Миане и Ноурузабаде полковник, убитый пулей в лоб, тело его принес его конь...

Кази, немного утомившись, спросил озабоченно:

– Значит, до Тебриза они точно дойдут?

– Именно так, – ответил полковник. – Неясно пока, с боем или без боя! Никакого приказа так и нет, кроме копии телеграммы в Зенджан. Я ее только что получил. Федаинам Зенджана приказано в случае вступления армии в город сопротивления не оказывать и в бой не вступать. Чтобы не давать предлогов Каваму. Некоторым частям федаев также приказано отступить на Миане и на Тебриз.

– Кто отдал приказ? – спросил Кази.

– Сам генерал Данешьян, – ответил полковник, и в этих словах ясно слышался его северный выговор.

Кази словно на миг ушел в глубь своих мыслей. Потом он заметил двух всадников, которые проскакали или, можно сказать, пролетели, разбивая предутреннюю тишину звоном подков по каменной мостовой. Перестав следить за ними, он повернулся к полковнику:

– Так как же это понимать, господин полковник? Запашок тут какой-то. В чем тут смысл?

– Я не знаю, что произошло, – ответил полковник, – и при каких обстоятельствах руководители партии отдали этот приказ. Но что есть, то есть. Всё разваливается – вот мое мнение. Если так пойдет, мы долго не продержимся. Хотя армейцы и говорят, что не будут вмешиваться в дела автономии.

– Это обман! – сказал Кази. – Хорошо отработанный! Как собак, обманывают! Алмаз режется только алмазом. Мы ведь с тобой это знаем...

– Не нервничай, Кази, – ответил полковник. – Нам лучше сохранить выдержку и посмотреть, к чему это приведет. Будут ли только стычки или они перерастут в полномасштабную войну? А больше нам ничего не остается.

Кази – Балаш позже узнал, что он фактически тоже был полковником, – поднял вверх свою кавалерийскую плетть таким движением, словно это была его собственная рука или вообще он не отделял ее от руки, а может быть, и пользовался ею как рукой; чтобы указать или направить на что-то.

– Я вижу ясно как день, что нас обрекли на смерть. Попомни мои слова, господин полковник!

И он ткнул нагайкой на восток, в сторону гор. Это был человек того типа, которые всегда готовы вскочить в седло, у кого всегда с собой плетть. Полковник снова рассмеялся:

– О каком ясном дне ты говоришь, Кази? Еще темно совсем. Можно подумать, что нюх твой сильнее стал, зато зрение ослабело!

Кази молчал. Он все так же бесцельно играл плеткой. А вот голос полковника изменился. Тот вздохнул. Потом заговорил словно бы сам с собой:

– Не понимаю, почему не дают мне ответа. Остановить их можно, только если действовать по моему плану. Не здесь и тем более не отступая. Если убедим руководство выполнить операцию, все вернется в прежнее русло.

– Сейчас нужно действовать только наверняка, – сказал Кази. – Вот уже неделя, как они тебе голову морочат. Когда ты послал план операции? По-моему, уже больше десяти дней. Он должен был попасть в советское консульство, оттуда в Баку и потом в Кремль. Они думают, что без одобрения Сталина ты всё равно ничего не сможешь. Теперь уже ничем не поможешь, даже если они согласятся.

– Почему же! – ответил полковник. – Ничего не изменилось. Все еще этот план можно осуществить. Всё, что нам нужно для успеха, – это мужество и готовность пожертвовать некоторым количеством жизней. И то и другое у нас есть.

И он жестом указал на себя и Кази. Тот ухмыльнулся. Полковник продолжал:

– Мне не нужна иностранная помощь, а только утверждение операции!

И он тронул Кази за плечо:

– Иди немножко отдохни. Скоро солнце взойдет. Скакуна убивает тяжелый груз, а не скорость.

Кази отошел.

Полковник пригласил Балаша в свою комнату. Подвел его к черному, закопченному чайнику на плитке, налил два стакана чая. Потом сказал:

– Тайное стало явным. Поэтому мы свободно говорили при тебе. Но не вздумай это всё опубликовать в газете! Это ослабит дух армии.

Балаш обещал быть сдержанным. Они оба сидели, погружившись в раздумья. Какая-то мысль не давала покоя Балашу, но он не мог почему-то прямо спросить полковника о том, что его волнует. Мясся, мямлил... В этот миг он забыл и о наглости репортера, и даже о смелости. Черт бы побрал эту журналистику! Полковник заметил его состояние.

– Расслабься! Что хочешь спросить – спрашивай. – И он рассмеялся. – Может, последние наши деньки. Потому я тебя не огорчу. Кази тоже человек неплохой – три ночи он не спал, вот и всё. Очень нервный стал. Но если гилянский план одобрят, моя надежда – только на Кази. Его организаторская сила и быстрота действий поразительны. С десятью такими офицерами, как он, я всю страну могу завоевать.

Балаш решился:

– Извините за вопрос, господин полковник! Но, по вашему мнению, положение очень запутанное? Я хочу понять, что нас ждет.

– Я тоже не знаю! – ответил полковник. – Но мне говорит интуиция, что они решились на полное уничтожение Демократической партии или, как вы, азербайджанцы, говорите, «демократ партиясы»... Я за свою жизнь столько натерпелся, чтобы это понять! Расстояние от Боджнурда до Гомбада было больше, чем от земли до неба.

Пока Балаш не понимал, что имеет в виду полковник. Спросил:

– Какая же судьба нас ждет?

– Никто этого не знает. Никто! Но, опять же, как гласит ваша поговорка: «Когда конь рвет привязь с кола, один раз кол ударяется об землю и дважды – по его собственной шкуре». Возможно, наша судьба будет такой же.

Говорил полковник с горечью, но Балаш позже понял, что он отнюдь не пал духом. Наоборот, он-то и был единственным человеком, имевшим ясный план того, как бороться и как выйти из безвыходной на вид ситуации.

Во время их разговора адъютант принес полковнику телефонограмму из Тебриза.

– Ответ на ваш запрос, господин полковник!

Полковник листок не взял; не подняв головы, спросил:

– Какой ответ?

– Отрицательный.

Лицо полковника заметно изменилось. Он отвернулся к окошку, потом процедил сквозь зубы:

– Ах, подлецы!

Неясно было, кого он так назвал. Балаш понял это лишь через час, когда вместе с полковником в его джипе он ехал в сторону фронта в районе Кафеланкуха. Тогда полковник внезапно заговорил, без предисловий. Сказал: не понимаю, почему не возвращают? Балаш не спросил, о чем речь, но полковник сам объяснил, что большое количество вооружений передано было товарищам из северного Азербайджана, и они сейчас, в такое трудное время, вместо того чтобы вернуть его, под разными предлогами уклоняются. И никто не может понять, почему. Он телеграфировал в Тебриз, чтобы забрали оружие назад, но пришел отказ. Балаш не спросил, какое именно это было оружие и как оно попало в руки Советов. Он только понял, что это было не легкое вооружение. Возможно, вывезенное с военных баз Ардебиля и Сараба: 75-миллиметровые пушки, зенитные пулеметы и так далее. Говорили, что оружие испорчено и его для

починки увезли друзьям. И, конечно, друзья никогда не совершают предательство, безусловно появились какие-то сложности. Может быть, они боялись придирок со стороны иранского правительства, которое обвинило бы их во вмешательстве во внутренние дела страны и пожаловалось бы в Совет Безопасности ООН. Поэтому переданное на хранение и не возвращали теперь назад. В любом случае, не нужно о друзьях думать плохо! Балаш подумал, что наверняка и сам полковник Газьян, как и товарищ Кази, не спал несколько ночей и сильно раздражен теперь. Поэтому он и проклиная в сердцах северных друзей, не имея против них серьезных обвинений.

Замолчав, полковник прислушался к чему-то. Это было гудение, а не взрыв. Потом одновременно он и Балаш выскочили во двор и увидели в небе одномоторный самолет, который пролетал высоко над городом, оставляя за собой белый след. Федаины; напрасно открыли огонь по самолету, возможно думая, что достигнут его; потом все увидели, что самолет кружил в воздухе и сыпал листовки. Полковник крикнул: «Прикажи, чтобы зря не тратили патроны!» – причем Балаш не понял, к кому именно он обращался. Между тем рев опять нарастал: самолет сделал круг. Видимо, летчик понял, что зениток нет, и поэтому снизился, чтобы лучше выполнить свое задание и чтобы ветер не разносил листовки. Больше самолет не возвращался. А полковник крикнул: «Принесите мне парочку, чтобы я увидел, какую чушь они пишут!» И опять неясно было, к кому он обращается. Балаш между тем решил, что ему пора двигаться дальше, поэтому он собрал свою решимость и спросил у полковника, когда пойдет машина в Зенджан, чтобы подбросить его туда. При этом почему-то полковник спросил с удивлением:

– А зачем тебе в Зенджан?

– Хочу потом двинуться на Казвин, посмотреть, докуда дошли центральные войска.

Здесь полковник так расхохотался, что Балашу что-то попало в глаза. Полковник, задрав голову, хохотал безостановочно, и руками бил одну об другую. И всё хохотал и хохотал, а потом как-то резко замолчал, словно бы утомился или что-то пришло ему в голову. Теперь он нахмурился, как-то надулся, так что Балаш подумал, что полковник вот-вот заплачет...

– Ты когда выехал из Тебриза?

– Вчера утром.

Полковник еще больше насупился.

– Тогда неудивительно, что ничего не знаешь.

Балаш встревожился.

– А что произошло, господин полковник?

Тот опустил голову, словно решал что-то сам с собой.

– В Казвине уже никого нет. Армия движется к Зенджану. Восемнадцать батальонов пехоты, три броневых батальона, артиллерия с полным боекомплектom и американские танки. Авиация несколько дней совершает разведывательные полеты, теперь обеспечивает поддержку с воздуха. Говорят, операцией командуют лично Мохаммад Реза⁷ и генерал Размара.

– Значит, Зенджан они возьмут?

– Неизвестно, есть ли у них цель войти в город. Есть приказ никакого сопротивления им не оказывать. Несомненно, они войдут в город, если захотят этого.

Потом полковник внимательно взгляделся в глаза Балаша.

– Так ты всё еще хочешь ехать в сторону Казвина, господин журналист?

Балаш не знал, что отвечать. Раз проделав такой сложный путь, он не собирался возвращаться с пустыми руками. Полковник пришел ему на помощь:

– Я через час выезжаю на разведку в сторону фронта Кафеланкух. Если хочешь, едем вместе.

⁷ Шах Мохаммад Реза Пехлеви (1919–1980).

Еще бы Балаш не хотел! Он поспешил в казарму, где достал тетрадь и вкратце записал в нее то, что услышал. Потом оделся и расхаживал возле дверей, чтобы полковник его сразу увидел. Словно повторялся тот день, когда он впервые пришел на радио, к Мир-Гасему Чашм-Азару. Тот самый день, когда «олень застрял рогами в глине», не зная и не желая этого. Конечно, полковник о нем не забыл: сев в джип, он приказал водителю подъехать к казарме. Балаш сел в машину, а когда выезжали за ворота, давешний сердитый часовой уважительно на него посмотрел, говоря без слов: «Знай я, что ты вхож к полковнику, обращался бы к тебе по-другому».

Когда выехали из Миане, небо хмурилось, и казалось, что собирается дождь, такой именно дождь, который Балаш всегда любил, в который ему хорошо думалось и приходили в голову стихи. Он любил куда-то идти в такой дождь и не сердиться на него, даже если та крохотная глинобитная хижина, в которой они жили до недавнего времени, от дождя могла и развалиться.

...Что ж, может, тебя всё это утомляет, но если ты хочешь точно знать, что произошло, тогда, я думаю, ты должен слушать. Иначе ты не поймешь, как Балаш, когда и каким образом пришел к тому, к чему он пришел...

Солнца в этот день не было. Погода холодная, но не совсем еще зимняя, хотя шел декабрь (впрочем, я об этом, кажется, уже писал). Балаш с полковником Газьяном, с его водителем и с офицером охраны в командирском джипе ехали в сторону Кафеланкуха. Туда, где фedaины рыли окопы и иногда открывали огонь по пролетающим над головами самолетам, туда, где земля была испещрена подобием мышиных норок с кучками земли около них. И из некоторых нор поднимался дым – тут действовал тот фedaй или солдат, которого холод слишком прижал, так что он забыл о маскировке, а что – еду подогреть, чай заварить, это как, лишнее? Можно подумать, к теще на блины приехал или на пикник? А тогда зачем вообще стрелять по нам, мы тут сами околеем, ими выстрела единого не потребуется. Да вы что тут думаете о себе? Да вы прямо как – язык не поворачивается назвать. Это уже командир говорит и обращается вроде бы не к кучке людей в холмах, но ко всей цепи гор от Миане до Зенджана.

Но полковник Газьян, быть может, устал от грубых армейских будней, а может, и правда пришел к заключению, что это их последние деньки, а потому и думал обо всей своей жизни, о своем прошлом, и говорил вслух о том, что думал, по своему обыкновению, – и обыкновение это проявлялось именно в таких ситуациях, что Балаш понял позже. Родился он в городе Бендер-Шахе, там же учился, затем поступил в летную офицерскую школу, получил диплом с отличием, и звание лейтенанта, и знак передовика подготовки, а затем вступил в партию. Туде и создавал ее военное крыло, и был брошен в тюрьму, и – в числе участников знаменитого побега членов партии – вырвался на свободу, и перебрался в Хорасан, и участвовал в восстании офицеров, которое потерпело поражение в Гомбде, и бежал на советскую территорию, и в конце концов появился в Азербайджанской республике и стал помощником Пишевари и подчиненным Гулама Яхьи.

Вся жизнь полковника прошла в борьбе и преследованиях, и покоя он, можно сказать, в глаза не видел. И он думал, что только смерть, гибель избавит его – и всех таких, как он, – от этих злключения и даст наконец покой. Казалось, он всей душой – причем по-военному бодро – стремится навстречу смерти, всё это Балаш понял уже на обратном пути, когда полковник сказал, что, вероятно, поедет в Тебриз, чтобы лично убедить Пишевари и главнокомандующего, что, если они хотят остановить шахские войска, сделать это можно, лишь действуя через Гилян, через тот самый регион, который полковник так хорошо знал и откуда приезжали к нему за помощью молодые офицеры, требуя оружия для штурма тамошних ослабленных военных баз. Полковник говорил, что во всем Гиляне осталось не больше двух батальонов шахских войска и их можно легко разоружить или разгромить. А когда Балаш сказал, что ведь шахские войска вторглись в Азербайджан, так какой теперь смысл во всем этом, полковник

ответил: смотри не ошибись! Это то самое, что в шахматах называется «шах». «Шах» – это угроза королю. Когда это происходит, тот, кто подвергся этой угрозе, должен сразу перейти к обороне, например, вернуть на место коня или пожертвовать пешками, иначе получит мат. А мат – конец игры. И он пояснил, что следует через Хальхаль и Масуле выдвинуться на Решт и Рудбар, а затем двумя колоннами – одной через Казвин и второй через Марзанабад – подойти к Тегерану и объявить шаху «шах», заставив его обороняться, а следовательно, вернуть войска из Азербайджана. И, когда полковник об этом сказал, Балаш заметил: «Но ведь еще неизвестно, будем ли мы воевать». А полковник был уверен, что будем, что война неизбежна.

Так они разговаривали, сидя в джипе, мчащемся в сторону Кафеланкуха, как вдруг увидели на дороге военную колонну или нечто, что не было в строгом смысле колонной, но, поскольку люди были одеты в форму и вооружены, можно было сказать, что это колонна или что это недавно была колонна; хотя двигались они так, будто вышли на прогулку, то есть вовсе не торопясь и как бы не имея в виду определенной цели. А может, тащились разбитые, усталые или, допустим, возвращались с какого-то праздника, со свадьбы, или с траурного мероприятия там, за горами. А может быть, – это, правда, приходило в голову в последнюю очередь, – это было потерпевшее поражение войско, утратившее воинскую дисциплину и не имевшее не только командира, но просто походного начальника, который бы их организовывал в дороге, как это принято в военных колоннах. А может быть... Но, когда они сблизилась, стало ясно, что никакое из этих определений не подходит.

Джип полковника остановился у них на пути. Офицер охраны – дабы ко всему быть готовым – передернул затвор автомата.

– Кто вы такие? Куда идете?

– Нас отпустили домой, господин полковник. Идем по домам. Наше село недалеко уже.

– Кто вас отпустил?

– Наш командир.

– Как зовут вашего командира?

– Капитан Мурад Биглу! Он нам сказал идти по домам, ваша служба больше не нужна.

Полковник на миг застыл или утратил дар речи. Посмотрел на своих спутников, а затем по одному стал оглядывать солдат колонны.

– Вы идете из Зенджана?

– Так точно!

– И идете по домам?

– Так точно!

– При этом с оружием?

– Правильно!

– И вас отпустили домой?

– Так точно!

– А вы уверены, что не дезертиры? Не бежали с поля боя?

– Нет, что вы!

Тут они начали божиться и клясться Аллахом, и его пророком, и шиитскими имамами, и их далекими потомками, не известными ни Балашу, ни, вероятно, полковнику Они показывали направление к своей деревне, да ведь они уже почти дошли до нее. При этом они, как видно, забыли, что это тот самый полковник, которому они надавали столько божественных клятв, был когда-то членом партии Туде, а ныне – Демократической партии Азербайджана, а следовательно – если он не неверующий – ему не должны нравиться взывания к небесным силам – к Аллаху или пророку Мухаммеду и тому подобным, – также точно, как и они не должны были, будучи федаинами и членами партии, слишком налегать на эту сторону дела. Но, видать, это были те времена, когда все забыли, кто они такие и кем должны были быть.

Лица солдат казались обмороженными, измученными, от усталости они едва передвигали ноги, и похоже было, что они не лгут, полковник в связи с тем, что все были при оружии, засомневался. Потому офицер охраны полковника не снимал палец со спускового крючка автомата. И никто не знал, что же все-таки он, полковник, будет сейчас делать с этой усталой колонной, – которая наверняка также могла быть неуправляемой, – какой мгновенный выход он найдет, и вот тут-то Балаш и понял, как именно командир может в одно мгновение принять правильное или ошибочное решение и как он может разрешить ситуацию. Полковник крикнул:

– Назад! Кругом – марш! Идите назад и ждите!

Усталая колонна – глаза без надежды, и пересохшие рты, и измученные лица, почерневшие, несчастные и как бы обиженные, и ошеломленные, и отупелые, и подозревающие очередной обман – повернула назад и зашагала в обратном направлении, причем никто не протестовал и ни один из них не спросил: чего именно мы должны ждать?! Затем полковник по одному отозвал несколько человек из колонны и как следует их расспросил, причем расспрашивал поодиночке и затем отправлял их обратно такими путями, чтобы они не могли переговорить с остальными или даже обменяться с ними мгновенным взглядом, чтобы ни в коем случае не могло быть какого-то сговора или перемигивания, или что-то обнаружилось бы, или получило огласку.

– Во сколько точно вас распустили?

– Сколько часов у вас заняло дойти досюда?

– Как зовут вон того, третьего, который куском материи обмотал ноги? Из какой он деревни? Отца его как зовут, знаешь?

– Когда вам Мурад Биглу командовал разойтись, что он сказал дословно?

– Отдал ли он приказ лично или кто-то другой вам сообщил?

Он упорствовал в этих вопросах, выискивая несовпадения и пытаясь уличить говорящих во лжи. Но как будто бы это ему не удавалось. Следовательно, можно было считать, что он добрался до истины. Потом он собрал их всех и спросил:

– А теперь скажите мне честно и откровенно: что делается в Зенджане?

И они рассказали... И о том, чему сами были свидетелями, и о том, что слышали от людей, распущенных позже них, но после обогнавших их по дороге в тыл на конях или на машинах. Новости были столь страшные, что долго еще после ухода колонны полковник и его спутники не могли прийти в себя.

Приказ отступать пришел с самого верха: от начальника штаба национальной армии, генерала Махмуда Панахияна. Одну тысячу четыреста федаев с оружием распустили по домам, один батальон отправили в Тебриз, и, таким образом, из пяти тысяч защитников Зенджана осталось всего 1900 человек, из них 1200 федаев, остальные – мобилизованные солдаты. Командиры пытались оспорить распоряжение начштаба, но он ответил, что приказ подписали Пишевари и Данешьян и, следовательно, ничего изменить нельзя. Это было то самое, что еще раньше они все слышали немного в других словах, а именно: сопротивления не оказывать, не давать поводов...

Полковник ушел в свои мысли, и для него тоже было удивительно, почему фронт в Зенджане оголили именно тогда, когда в войсках была наибольшая нужда, а именно когда в город вот-вот войдут шахские части и, нарушив собственные обещания, навалят гору трупов, например сровняют с землей примерно двести домов вместе с их обитателями. Если даже сами шахские военные этого не делали, то это было дело рук вооруженных людей его превосходительства господина Золфагари, а также и других, тоже поддержанных армией. Это всё, не считая партийных и городских руководителей, которые были арестованы непосредственно армией и посажены в тюрьму, с тем чтобы вскоре быть судимыми военно-полевыми судами и расстрелянными.

Удивительные дела!

Но было то, что было, и ничего тут не поделать...

2

...Эх, если бы это было правдой и ты всё это видел, Аршам...

Аршам знал всю мою подноготную. Когда он собрался уезжать, я вырыл из земли свою жестянку. Все деньги из нее высыпал в руку и понес ему, не пересчитывая. Был ранний вечер: то самое время, когда любили мы прыгать с крыши вниз или с одной крыши на другую. Но теперь Аршам уезжал, и ему было не до этого. Я подошел к их дому и свистнул. Пришлось подождать, пока он выглянет.

– Чего не заходишь?

– Дело к тебе есть.

– Какое дело?

– Выйди – скажу.

Он вышел ко мне. В сумерках я нащупал его руку и переложил в нее всё, что сжимал в кулаке.

– Это что? – он удивился.

– Деньги. Денег не видал?

– Ну, деньги-то я видал... Но зачем ты их даешь?

– А зачем они мне здесь? Ты едешь в город, там потратить можно. А здесь только прятать. Даже если тут и куплю что-то – куда дену? Как с рубашкой будет...

Рубашку я купил у коробейника. Явился тогда он почти в полдень, с горного перевала. Вел на поводу черного мула, но мул был так нагружен, что едва виднелся из-под вьюков. Когда они спускались с горы, мы всей деревней смотрели на это зрелище – на некую разноцветную и громко звенящую кучу, которая как-то ворочалась на горной тропе и то показывалась, то опять скрывалась из вида, и только если ты был очень терпелив и смотрел очень внимательно, то тогда ты увидел еще и шар, катящийся впереди этой кучи, тогда следовало еще потерпеть, пока они приблизятся, и, наконец, ты понимал, что этот шар – меховая шапка, а куча – это мул с навьюченным грузом. Там было всё, от цветных тканей до разнообразных брюк и рубашек, и домашняя утварь – сита, решета, – и бубенцы разных форм и размеров, от верблюжьих до ягнячьих. И весь груз был увешан ими, и они бренчали вовсю. Я так думаю, торговец для того и навесил их, чтобы все поняли: он явился или вот-вот явится. Развесил бубенцы каждого типа по нескольку или даже по многу штук вместо того, чтобы втиснуть их в мешок или в кувшин, где бы они занимали меньше места. А так я даже не знаю, что вначале: услышал ли я этот звон или увидел разноцветные ткани. Думаю, никто до той поры не слышал одновременно столько звона: десятки колокольчиков бренчали так, будто хотели сообщить очень важную весть. И эта весть подняла на ноги всю деревню, и народ повалил к разложенным товарам, где было что-то для каждого. Коробейник зря не являлся. Сразу же поднялся свист в дудочки и свистки, что продавались детям, и звон бубенцов. Но я не из тех, кого влекут такие штуки. Я сразу приметил другое: шерстяную рубашку кофейного цвета, а на груди ее трехцветная нашивка – красным, белым и зеленым. Как знамя Ирана, что висит над крыльцом школы.

От шерстяной рубашки я взгляд не мог оторвать. Я был вроде тех голодных людей, которые порой стоят возле уличной харчевни и смотрят, как едят посетители. Вроде стараются не попасться им на глаза и вдруг понимают, что это не удалось, потому что взгляд наблюдателя меняет вкус еды. Уже нет прежнего удовольствия или самозабвенности поглощения пищи, уже почти кусок в горло не идет, а хуже всего, если обедающий повернется и прямо уставится на этого наблюдателя, или, откровенно скажем, на помеху. (Однажды мы ездили в Сарэйн, где есть горячий источник, и гуляли по улицам, и там-то я всё это и видел – и, кстати, за воды горячего источника тогда еще не брали денег, так как народ не понял еще, что за воду можно выручить больше, чем за кумыс.)

Вот эта пара глаз моих – чего только не видала!

Так же и тот бродячий торговец. Остановился он у ручья, и в той сутолоке, что создавалась, – а его прямо толпой окружили, и он с каждым о чем-то болтал, так что мне казалось: челюсть его вот-вот отвалится, – все-таки пару раз взгляд его остановился на моем лице, или, может, точнее сказать: пару раз он застал меня врасплах. Даже было видно, что на миг он потерял нить разговора, или, точнее говоря, я настолько отвлек его, что он даже забыл затягиваться самокруткой, – а он ни на миг не выпускал ее из рук или из губ и, еще не докурив одну сигарку, уже крутил следующую, и смачивал бумагу языком, и закручивал кончики самокрутки, или сыпал в бумагу табак для новой, а потом разминал его пальцами и разравнивал, и разминал готовую сигарку, а потом... Не знаю, после которого взгляда на меня раздался его голос:

– Ну, паренек... Тебе чего-нибудь надо?

Сигарка дымилась, а сам он смотрел на меня так же, как наши пацаны, когда на улицу выйдут со вкусным куском, смотрят на собак: как бы не вырвали из рук лакомство да не сбежали. Я изобразил удивление:

– Я?

Он в это время продавал женщине «яялык» (летний платок) и протянул руку за деньгами. А она доставала монеты двумя пальцами из узкого кармана юбки так, как будто вырывала самое дорогое из души, и, протягивая деньги торговцу, всё еще продолжала торговаться, а он ничего ей не отвечал, и женщина одну монету все-таки вернула в кармашек и больше ее оттуда не доставала, и как будто охватила ее, и она решила попытать свое счастье до конца:

– А эти тридцать шаев⁸ удержу с тебя, потому что, вон, нитки слегка растянуты, так или нет?

И опять торговец ничего не ответил и продолжал болтать о том о сем, о том, какой далекий за его спиной путь и какие трудности были – горы, тропы крутые, а ветер там, на высотах, прямо режет до кости. И словно во всем этом единственная вещь, которая была неважна, это цена товара, так что я даже подумал, что этот старик-торговец либо совсем с ума сошел, либо действительно его все околпачивают, а он этого даже не понимает. И опять он смотрел на меня:

– Я говорю, парень, ты выбрал, наверное?

На этот раз я даже плечами не стал пожимать. Что я мог ему ответить? Сказать, что старая куртка Мирана опостылела мне и что приглядел я эту рубашку с нашивками? Тогда он подумает, что я нищий. Не знал он, что деньги у меня есть и я много чего могу купить, но не делаю это из страха перед Мираном. Ибо как докажу я ему, что это мои честные деньги, которые я по грошу скопил? Зарабатывал трудом, с которым мало что сравниться может, – сбором колосьев! Работой, которая уже почти совсем устарела и вышла из обихода, так что, кроме воробьев, и мышей, и ворон, я, быть может, единственный, кто хранит этот старый обычай. В конце лета и в начале осени при малейшей возможности я устремлялся на сжатые поля и там охотился за колосками до вечера, а потом все их сносил на большую плоскую скалу и там молотил деревяшкой, и отведал солому, и тщательно собирал все зерна, и завязывал в узел, и, возвращаясь в деревню, загонял скот, заходил к Йавару и ему отгружал, и вместо фиников и фруктовой воды, или арбуза, или огурцов, что обычно берут за это дело, – я брал деньгами. И Йавар не ворчал, ибо никто лучше меня не отбирал отдельно ячмень и пшеницу, и ни камешка не было в моем зерне, а всё было как свежая дождевая вода, дар с небес, – чисто-чисто, зерно к зерну. А работа тяжелая. И чем больше я вдумывался в нее, тем больше казалось мне, что сбор колосьев – это свой мир. Обычно я шел на сто – двести шагов впереди стада, чтобы взять свою долю до того, как они уничтожат всё вчистую. Я, следовательно, был как бы их соперником. Работал, не разгибаясь, так что, если кто посмотрит издали, мог бы принять меня за козла – вожака стада баранов. Но, думаю, основные мои соперники были не овцы с баранами, в все-

⁸ Шай – мелкая серебряная иранская монета в 1/20 часть риала.

таки вороны, так что я непрерывно обмозговывал вопрос: я ли вырываю пищу из их лап или они посягают на мою долю?

Бывало и так: попадал я на такие земли, где от густо сидящих ворон всё черным-черно было. Сплошь чернота! Даже и глазам своим едва веришь. Откуда взялось такое множество? Думаю, если бы собрались все люди нашей деревни, то и все вместе они не смогли бы пересчитать этих ворон, чисел бы не хватило!

Вот эта пара глаз моих – чего только не видала!

Обычно я тихонько приближался к вороньей стае, а потом вдруг выбрасывал руки к небу и издавал такой вопль, что все вороны до единой взмывали вверх; и в их многочисленности мы просто потерялись – и я, и стадо овец. Словно бы черная туча бросила тень на землю, а гром их карканий и их сумасшедший лет были везде и всюду. Тут я уже забывал о каком-то соревновании с ними. Я стоял задрав голову, и не было ничего, кроме этих черных крыльев и карканий, как бы перебивающих друг друга. И кроме этого хаотического движения, от которого у тебя кружилась голова и которое уносило тебя в некое непонятное и неизвестное тебе место. Словно в далекий город, который и был городом ворон, полным их криков и гомона. И я стоял и ждал – и когда вороны чуть успокаивались, я видел, что я и впрямь в незнакомом месте. И в высоте гор я видел людей, которых никогда в жизни не видел, и слышал голоса, которые раньше только слышал, но не видел их владельцев. И кто-то указал мне на мужчину, который по ночам бежал куда-то по переулку, и сказал: вот твой отец, – а я его не узнавал. И я видел женщину, упавшую на пороге дома, она билась в агонии, а мужчины с размаху дробили все ее ребра и ее зубы прикладами винтовок – и кто-то сказал: это твоя мать, – а я ее не узнавал. И старика я видел, он не был слеп, но притворялся слепым, и он тащил этого убегающего мужчину, но при этом делал вид, будто мужчина тащит старика. И кто-то сказал, что это твой дед, а я его не узнавал; и еще сильнее кружилась у меня голова, и мне до смерти хотелось вырваться из этого города, и крик ворон опять стал таким невыносимо громким, что заглушал и заполнял всё... И так оно продолжалось, пока я сам не приходил в себя или пока меня кто-нибудь не окликал, пока стадо не терялось из вида или пока опять не возникал передо мной Хадиш, который пас коров и волов, и, как правило, на равнине, а не в горах, потому что в горах не растет трава, пригодная для коров, и чтобы понять это, не нужно быть коровой...

Не знаю, почему эти странные видения приходят ко мне и терзают меня... Уж я всюю пытаюсь думать о чем-то другом, получше этого, чтобы прийти в хорошее настроение. Например, о том, что человек тогда знает истинную цену чего-то, когда он много потрудился, как, например, говорят пословицу: «Он рукой двери не откроет» – имеют в виду, что человек так сильно устал, так вымотался, настолько его руки другим заняты, что их даже для двери не освободить. Вот и я с таким же трудом собирал пшеницу и ячмень – чтобы ни соломинки в зерне не осталось – и всё зерно высыпал на особое полотно, и то рассматривал его кучи, то перебирал их горстями, или такой вот струйкой из руки пускал зерно назад в кучку, и так мне было хорошо, так приятно, ведь это были зерна, которые я поднял со стерни колосок за колоском, ради этого я столько наклонялся, что и разогнуться-то после не сразу мог, – и даже мне самому потом было трудно поверить, что всё это крупное золотое отборное зерно я нашел на той самой земле, на которой, на первый взгляд, ничего нет, кроме комков сухой глины да мелких кузнечиков.

Но что было, то было.

Вот мои глаза – чего они только не видали!

Это меня успокаивало и давало надежду. Не знаю, почему. Словно в безнадежности была тайная доля надежды. Деньги, которые платил мне Йавар, я складывал в жестянку, а ее закапывал возле помойки, в развалинах позади нашего дома. Естественно, пряча свою жестянку, я всё время внимательно оглядывался по сторонам, чтобы никто меня не заметил.

У маленьких ребятишек такой нюх, что нос собаки перед ним ничто. Потому я всё время был начеку, ибо, если найдут мой клад, все труды пойдут прахом, и я для страховки не раз менял место, куда закапывал жестянку, так что порой уже сам с трудом его находил.

Но сейчас я точно помнил, где она зарыта, и если торговец скажет, сколько стоит рубашка, то всё будет решено. Сам-то я не мог у него спросить цену до тех пор, пока кругом был народ, и вот наконец люди разошлись, уже за полдень было, и он, усталый и потный, снял свою косматую шапку и, достав клетчатый платок, вытер шею. И, оглядываясь вокруг, снова на миг как бы погрузился в мои глаза, и, по-моему, что-то пробормотал, что вполне могло быть ругательством, потому что еще раз он уже со злостью взглянул на меня.

– А, ты всё еще здесь? Как муха вокруг сладкого! Тебе что, заняться нечем, работы нет?

Я ничего не ответил. До послеполудня, когда надо снова гнать стадо на пастбище, у меня, действительно, работы не было.

– Если что присмотрел – скажи!

Не хотел я этого говорить. Но о цене узнать имел право. И я показал на шерстяную рубашку:

– Сколько?

Он назвал цену: пять риалов! Я был уверен, что у меня в жестяной коробке больше: она почти полная была. Я задумался.

– Если нравится рубашка, иди, скажи родителям, пусть купят. Я второй раз в одну деревню не возвращаюсь. Захожу в районе в каждую без исключения деревню. В каждую самую крохотную! Но только один раз, так что не надейся еще раз меня встретить.

И он свернул новую сигарку. Я молчал, а он пошел к ручью и вымыл лицо, голову, потом начал собирать свои вещи. И всё время что-то говорил и говорил, не обращая внимания, есть ли слушатели. Похоже, старик был из тех, кто способен сам себя занимать разговором и выражать вслух свое удовольствие или, наоборот, жаловаться на жизнь, чтобы трудности казались легче. Я таких людей повидал в своей жизни; такие или сами себе изливают свое горе, или даже что-то со смаком повествуют. Эти люди довольно-таки редки, потому народ порой называет их безумцами. Что ж, такая у народа судьба: того, кто не похож на всех, называют безумцем или пустым мечтателем, олухом, дурнем или еще похуже. Безумцы, думаю, потому и молчат обычно, чтобы избежать подобных кличек, а на мой взгляд, два вида безумцев есть: те, которые смеются, и те, которые плачут. Конечно, все говорят, что смеющийся сумасшедший не опасен, а вот тот, который плачет... Ого-го, этот уж, наверное, действительно в полном расстройстве, раз плачет, ведь очень немного в нашем мире настоящих поводов для слез. Ну, плакать ли, например, если тебя наказали? Какой смысл в этом плаче? В честь того, что тебя бьют? Из-за того реветь, что шипы колючек вонзились в твои ступни и нет сил терпеть, а тебя еще и кнутом хлещут и приказывают: скажи, я был неправ, скажи, я говно съел со своим пропащим в неизвестно какой могиле отцом? Или, может, ждут они плача от тебя для того, чтобы потом разыграть спектакль сострадания, чтобы в дело вмешались другие, с добрым сердцем, люди и проявили бы к тебе сострадание? Да пошли они подальше – они сами и их сострадание! И сами они говно, и отцы их такие же, и отцы отцов их, и отцы отцов отцов их!

Но он, впрочем, не был совсем уж сумасшедшим, или, по крайней мере, не был молчащим сумасшедшим. Спросил меня:

– Так что мне делать? Ждать тебя или нет?

Не знал я, что ответить. Не знал, что делать. До сих пор раньше темноты я никогда не выкапывал жестянку. Наверняка с верхнего конца деревни меня увидят, и это опасно.

– Если понравилась она тебе, иди, бери ее! А деньги потом отдашь.

Шутит он, что ли? Я внимательно посмотрел на него. Вроде бы он был не опасный. Я это подумал еще тогда, когда он продавал женщине платок. Он как-то рассеянно торговал, будто его мысли были заняты чем-то иным. Я спросил:

– А разве ты не говорил, что больше сюда не вернешься?

Он рассмеялся.

– Я человек бродячий. Сейчас одно сказал – а ты зачем веришь, голова садовая? Аллах велик! Может, и выпадет еще вернуться.

Это был самый удивительный коробейник из всех, кого я встречал в моей жизни.

А ведь моя пара глаз – чего только не видала!

Он хочет мне открыть кредит, но не надеется вернуться сюда. Наверное, он все-таки шутит надо мной в отместку за то, что я так долго рядом торчу. Но зато теперь я мог смотреть на рубаху, а не на него, то есть не нужно было выдерживать его взгляд.

Я растерялся. Не соображая, что делаю, пошел к развалинам позади нашего дома. Прошел мимо них, как бы гуляя, раз, и второй, прикидывая, сколько времени займет, если, очень торопясь, вырою жестянку из земли. Вроде, быстро должно получиться: земля там рыхлая, в ней много золы... Наконец, решившись, я бросился на то место, как зверь на добычу, выкопал жестяную банку и, спрятав ее на животе, сразу вспрыгнул на плоскую крышу. Потом бегом, бегом, перетрусив, весь дрожа и задыхаясь... Наконец укрылся на гумне. Ничего не соображая, начал пересчитывать деньги, всё время вздрагивая и оглядываясь по сторонам. Но вроде бы никто меня не заметил, всё было спокойно...

Я высыпал все деньги на глинобитный пол. Совсем мелкие монетки отложил отдельно, а пять риалов собрал отдельно. Потом жестянку засунул в снопы, чтобы при случае, собравшись с духом, как следует перепрятать ее...

...Торговец верхом на муле уже выехал из деревни и удалился от нее порядочно. Почти у реки он был. Бубенцы звенели, и весь он был похож на странный дымящий паровоз, пусть идвигающийся довольно медленно.

Я побежал догонять его. Кричать, чтобы остановился, мне не хотелось – услышали бы. А время за полдень не так далеко ушло, и солнце палило почти отвесно, не косо. Теней не было, и я весь взмок, пока догнал.

Это было недалеко от нашего клина, возле реки. Торговец оглянулся в сторону деревни и увидел меня, но ум его – если у него была такая вещь, как ум, – почему-то не сказал ему остановиться и подождать. Может, он подумал, что я не за ним бегу, а может, как раз узнал меня и решил, что именно со мной ему говорить не о чем, надоед я ему. В общем, он никаких знаков мне не подал и продолжал ехать. Но вот я уже почти догнал его и весь целиком окунулся в этот звон бубенцов. Здесь торговец обернулся и поднял свою палку, которой погонял мула, таким жестом, словно собирался побить надоедливую собаку.

– Опять ты?!

Я так запыхался, что ничего не мог сказать. Только смотрел на него, торопясь отдышаться.

– Ну что ты хочешь? Что ты так пыхтишь?

– Рубашку! – с трудом выговорил я. – Рубашку хочу, с нашивками!

Он отвернулся и что-то пробормотал. Но я чувствовал по голосу, что он улыбается.

– Передумал, значит? А я ведь тебе говорил: бери ее! Не поверил, что ли? Думал, я дразню тебя, так нет – я серьезно говорил. Не такой уж я торгаш заядлый. На курево заработаю – и хватит. Меня ведь другое интересовало. Поневоле я этим занялся. Но и на одном месте топтаться не хочу – потому в одну деревню дважды не возвращаюсь.

Слова эти мне были непонятны. Рубашка – вот что мне нужно было.

– Я деньги принес!

– Чего-чего? – Может быть, звон бубенцов не дал ему расслышать или вообще он был глуховат...

– Деньги принес, говорю!

– Какие деньги?

– Деньги за рубашку!

Он с удивлением на меня воззрися, не замедляя хода мула.

– Ты? У тебя что ж, пять реалов есть? Тпру!

Мул замедлил свой шаг. Я протянул торговцу руку с монетами:

– На, перечти!

Он нагнулся, не слезая с седла, и я деньги из кулака пересыпал ему в кулак.

– Тпру! – Теперь уже мул остановился совсем. Звон колокольцев утих, лишь иногда они звякали, когда животное переступало. Торговец едва взглянул на монеты и, кажется, их не пересчитывал.

– Но это ведь не отец твой дал деньги!

Сумма состояла из мелких монет, поэтому, думаю, он и понял, что это за деньги такие, и уже больше меня о них не спрашивал. Только задумчиво приглядывался ко мне.

– Так вот как, значит!

То есть как это так?! Я ничего не понимал. Он замолчал, а я вдруг подумал, что он хочет деньги мои умыкнуть. Ему ведь стоило пустить мула вскачь, и всем моим стараниям конец. Ведь у сумасшедших – будь они плачущие или смеющиеся – одно плохо: они заранее не предупреждают о том, что намерены сделать, да и ты этого предвидеть не можешь. Поэтому-то им и нельзя особенно доверять.

– ...Ты мне не хочешь дать рубашку?

Он спрыгнул с мула, и опять потекла река его многословия:

– Вот сам ты на свою голову трудности создал! Сказал бы мне подождать тебя... Почему в деревне не купил, зачем сам себя гоняешь? Да еще и деньги есть у тебя!

Я ему не отвечал, лишь искал глазами рубаху. Мы стояли посреди дороги. Мул с удовольствием принялся к свежему помету осла, потом вздохнул и захрапел, обнажив крупные зубы. От реки доносился запах воды, а с лугов – запах спелой и вытопанной травы. Нигде ни движения. Даже ястреб-перепелятник, круживший в небе, сел отдохнуть на высоко торчащий камень.

Коробейник сражался с одним из व्यюков, но в конце концов вытащил из пачки рубашек мою. Потом встряхнул ее и повернул так и этак, чтобы я рассмотрел.

– Ну? Красота! Смотри не запачкай, а то отец с матерью проклянут меня и предков моих до седьмого колена. А я дважды в одну деревню не возвращаюсь. Обратного хода нет.

Я это уже слышал. Приложил рубашку к груди. Она была чуть великовата.

– Давай поменяю. Великовата для тебя!

– Нет, не хочу!

– Великовата ведь.

– Не страшно! – Я всегда видел, что детям покупают вещи чуть на вырост, потому что дети растут...

– Ну что же... в добрый час! Наденешь ее?

– Нет! – я не хотел надевать. А он всё в меня вглядывался.

– А ты чей будешь-то? Отец твой кто?

– Не знаю, – ответил я...

Торговец захохотал от души, и дым от сигарки шел изо рта его волнами, как поднимается дым над нашей газовой мельницей, когда ее запускают.

– Ты этого никогда не говори, голова садовая! – посоветовал он мне, отсмеявшись. – А то припечатают... Зовут всё же как твоего отца?

– Говорю, не знаю!

Теперь ему стало не до смеха. Возможно, теперь он меня счел сумасшедшим.

– Разве можно человеку не знать имени отца своего? Я вот до седьмого поколения знаю.

Но я мотал головой: мне неизвестно. А он опять рассмеялся и так громко прикрикнул на меня, что до холмов предгорий долетал его голос и вернулся к нам эхом.

– Но тебя-то, тебя как зовут? Свое имя ты знаешь?!

– Меня зовут Булут.

– Булут? – он удивился. И в то же время словно успокоился, будто и правда он думал, что я могу не знать своего имени.

– Ну хорошо, об отце твоём не будем... Но мать свою ты знаешь?

– Нет, и ее не знаю.

Опять на мгновение замолчал. И уставился пристально на меня.

– Издеваешься надо мной?

– Нет, правду говорю.

– Так как же? У кого ты живешь?

– Я живу у Мирана.

– Мирана?

– Мир-Али.

– Ага. Но я этого имени не знаю. Я сам нездешний, но в краях этих давно и все новости слышу, народ ведь туда-сюда ездит, рассказывает. Таким путем я многих знаю. И ближних, и дальних, и тех, кого не видел ни разу. Так, значит, Мир-Али тебе не отец?

– Нет. Он меня нашел.

– Нашел?

– Нуда, у ручья Атгули!

Опять он захохотал, подняв голову к небу, и смеялся еще дольше, чем прежде. Смеялся до слез, хотя дым теперь из его рта не шел, так как новую сигарку он не успел закурить. Смеялся, оскалив зубы – желтые-желтые, гнилые наверняка. Зубы заядлого курильщика... И я тоже засмеялся. Уж не знаю, почему. Как-то весело мне с ним было. Он сказал:

– Ты парень занятный. Если мне нужен будет подручный, обязательно приеду и тебя заберу. Значит, Мир-Али нашел тебя у ручья? Хорошо, что не на улице и не в золе очага, – как, знаешь, Мальчика-горошину из сказок? Так дети появляются тоже. А еще рассказывают: аист, мол, принес. Те самые аисты, которые, бывает, в свои старые гнезда возвращаются, если их, конечно, не подстрелят. Скажи-ка мне: у вас аисты бывают в деревне? Может, и тебя аист принес, а тебе невдомек? Ты когда-нибудь в аистьиные гнезда заглядывал? Аист – птица кочевая. Улетят, а потом в их гнездах много чего находят. Вот я и думаю, что один из них тебя принес. Наверняка так оно и было!

И опять он смеялся, задрал голову к небу, а потом вдруг погрузился и сказал:

– В оставленных гнездах много чего находят, кроме одного – тепла. Сунешь руку и сразу поймешь: улетели навсегда, и Аллах им судья...

Не понимал я его. Я лишь слышал крики этих птиц, но самих их за облаками не видел, даже во время перелета. Однако важно мне теперь было не то, что говорит старик, а то, что в руках у меня красивая рубашка, один вид ее доставлял мне наслаждение. Теперь больше не надо будет носить вонючие рваные армяки Мирана. Такие заплатанные, что не поймешь, какого они были цвета сначала.

– Ну что ж, прощай!

Старик, прежде чем сесть в седло, кинул мне несколько монет.

– На вот, возьми!

– Зачем это?

– Лишнего дал!

– Как это? Ты же сам сказал, что пять риалов.

Он меня будто не слышал. Окутавшись табачным дымом, он тронул в путь мула, и вот уже говорил сам с собой, и мотал головой... Такова уж, видимо, привычка людей, подолгу

находившихся в одиночестве, например чабанов на отгонных пастбищах в горах или в степях, коробейников, бродящих туда и сюда. И вот он удалялся, и большая с полями шапка, как зрелый подсолнух, клонилась то вправо, то влево... А потом вдруг застыла в неподвижности, и именно в этот момент он вдруг остановил мула. И все колокольчики враз умолкли. Что еще случилось?

Он немного постоял без движения, а потом обернулся в мою сторону так, что сердце мое ушло в пятки: уж не хочет ли рубашку отнять? Смотрел на меня, чуть подняв подбородок, потому что большие поля шапки мешали смотреть прямо, – но в то же время казалось, что он еще и прищуривается к чему-то или любит смотреть на людей как бы сверху вниз, сквозь прищуренные веки.

– А ну-ка иди сюда!

Я уже готов был удрать. Правда, вспомнил, как лет семь-восемь назад я уже пытался удрать от одного господина, но, во-первых, он меня поймал, а во-вторых, закончилось всё к моей же выгоде. Поэтому сейчас я все-таки пошел к нему, а подойдя, понял, что у этого старика шансов догнать меня нет. Я ведь вырос уже, да и Миран меня дрессировал еще как...

– Ну, чего надо?

Он смотрел на меня, словно решая в уме непростой вопрос.

– Говоришь, он тебя возле ручья нашел, Мир-Али?

Я кивнул. Что тут удивительного?

– Неужто Мир-Али и есть тот самый, кто гнался за партийным? Еще до его смерти.

Не понимал я, о чем он. «Партийный» – что это значит? Я понял только, что он говорит о смерти, а это могло быть связано со смертью моего отца. Отца – даже имени его я не знал. Я только помнил ручей, и высокую траву, и лягушек, что прыгали в воду, и запах навоза, и тот голос, что неустанно звал меня, и не мог я говорить об этом ни с кем, кроме как с Аршамом. А голос повторял лишь одно: «Я сгорел... О Боже, я горю!»

– Чего ты говоришь? – спросил я. – Партийный?

– Нуда! Ты этого не помнишь. Не можешь помнить: с тех пор лет десять – пятнадцать прошло. Их разгромили, и они бежали!

– Куда бежали?

– На советскую территорию!

– Зачем?

– Эх, зачем... Ясно, зачем: кто на чужих ногах стоит, быстро грохнется. Чужим служить все равно, что прилипнуть к задку осла, так мой отец говорил. В его времена тоже было много неразберихи. Смитко пожар раздувал в Азербайджане – большая смута была. Но он-то никуда не бежал...

Я очень глупо спросил:

– А что так? Кто осел?

Старик поднял кнут, словно хотел меня хлестнуть по голове, потом передумал. Кто же он такой? И не добрый ко мне, и не злой. То хотел пять риалов мне простить, то побить меня... Ясно, что он слегка не в своем уме, но ясно и то, что когда-то он был вполне разумен.

Слова я его не все понимал. С кем он вообще беседует сейчас?

– Говорят, он бежал и добрался до сельских мест вот именно в этом районе. Не смог границу перейти. Весь измучился, а пришлось вернуться, и, конечно, днем-то он спал, а по ночам пробирался и вот дошел досюда и думал: всё, отмучился... Не знал он, бедняга, что отмучается, но по-другому. А может, это и значит по-настоящему отмучиться, чего остальные не понимают. В те несколько дней, что граница была открыта, тысячи людей ушли на ту сторону. Но этот бедолага почему-то не смог, и за что от него счастье отвернулось? Аллах ведает... Или его боевики схватили... Тпру! Тпру – стой, животное! В те дни многие ушли на ту сторону. С семьями и без семей. Но этот не смог, а может, не захотел. Точно как и тот,

который, рассказывали, за большие деньги до границы добрался, а все-таки опоздал, но потом границу опять открыли, причем, говорят, только ради него одного, ведь он был вроде человек известный. А он не пошел и вернулся назад. А почему – Аллах ведает.

И тут он вдруг уставился на меня и замолчал. Словно человек, который сам с собой говорил либо, например, ел и думал, что он один, и вдруг видит, что за ним наблюдают. И он так на меня посмотрел, словно меня не должно тут быть, а я вот был, надоедливый.

И старик хлестнул своего мула и двинулся в путь, и колокольчики зазвенели. И с гиком он прибавил ходу, а я стоял как вкопанный, как застывший. И что-то сверлило мне мозг, а что – я сам не понимал. Словно туман спускался с гор, и в то же время дул сильный ветер и волновал его, и закручивал вихрями, и сдувал куда-то вверх. Я услышал такие новости, которые всё во мне перевернут, – хотя я этого сразу не понял.

Пестрая куча удалялась от меня и уносила звон бубенцов.

Какое-то время я стоял, глядя вслед старику, а потом побежал догонять.

– Постой! Погоди!

Он обернулся в седле и так крикнул – «Шайтан побери!» – что я испугался. Но продолжал бежать за ним.

– Ну что еще тебе?

– Об этом человеке! Как его звали? Ты знаешь его имя?

Он немного подумал и ответил:

– Нет! Откуда мне знать?

– Но ты же сказал, что он известный!

– Этих известных столько было, а теперь – ни имени, ни следа! Откуда мне знать, кто он был? Десять – пятнадцать лет назад, говорю же! Тогда столько всего спать людям мешало...

Я посмотрел ему прямо в глаза. Красивая рубашка – вот была причина, почему я сразу ему в глаза не глядел, как он сам это делал, – а теперь я решил восполнить свое упущение. И до чего же таинственны были его глаза, и как волновал их взгляд!

– Значит, как звали его, не знаешь?

– Нет, друг мой, не знаю. Имен этих столько было! Секретарь, журналист, федаин, товарищ, начальник, главный министр... Как пена на воде, год проходит, и нету следа. Были – и нет их. Как ветром унесло или горным потоком. От тех, кто ушел за границу, – ни слова и ни звука! Коротенького письмаца ни один не прислал, а может, не дали прислать. Все словно канули, у каждого своя судьба, видишь ли. Как туманом заволокло степи или горы. Говорят, многих убили, говорят, двадцать пять тысяч... Иную вещь и не понять, и не оценить человеку. Был такой, например, Кавам, говорят, спаситель Азербайджана, а ведь руки его в крови. Благодарность с проклятьем заслужил навеки. Одно с другим вместе и в одно и то же время!

Он тронул мула шагом, а я пошел рядом. И опять речь его потекла рекой:

– Вот пара глаз моих – чего только не видала! Партийного начальника города Сераба разрубили пополам, как тушу, и обе половины повесили на городские ворота! И два дня труп его висел у всех на виду. Махбуб – так его звали. До сих пор вижу его родных. Они как это пережили? Невозможно забрать своих убитых и похоронить по-людски. Ведь начнешь забирать – с тобой такое же сделают! Не допусти Аллах повторения тех дней... Когда офицеров расстреливали, они под дулами пели гимн, все еще верили в свое дело, бедняги! Вот пара глаз моих – чего она только не видала!

Эту фразу старик повторял часто, и мне она почему-то понравилась и запомнилась. Наверное, понравилась потому, что сам-то я почти ничего в жизни не видел, ни одним глазом, ни парой. Вся жизнь я прожил в нашей несчастной деревне, прилепившейся к горе Султан Себелан. Возле которой, несмотря на ее громкое имя, ничегошеньки не происходит. Разве что хлынет сель и размоет деревенское кладбище, вытащив из могил мертвецов, или позовет тебя какой-то голос, а чей он – неясно, ты даже тени его обладателя не увидишь. И самым ярким

твоим впечатлением будет поездка к источнику горячих вод, к которому народ, живущий там, совершенно равнодушен и как-то не понимает сам своей выгоды – того, что из этих вод можно точно так же извлекать деньги, как из торговли кумысом или маслом, которое они сбивают на продажу. Причем ничего тут не нужно ни доить, ни заквашивать, ни сбивать в маслобойках, хотя тоже надо соображать, и предвидеть, и внимательно деньги считать... Не хотят – и это в том районе, в котором всё еще не умер старинный промысел сбора колосков за деньги, не только одни вороны занимаются этим, но и люди... И я подумал, что если когда-нибудь в жизни и у меня будет о чем рассказать, – а для этого, видно, надо поездить или побродить по свету, нельзя сидеть на одном месте, – то наверняка и я буду начинать свои рассказы этой фразой, про два моих много повидавших глаза...

Итак, он говорил и говорил, а я шел рядом и слушал, и в то же время всё заглядывал в его глаза, так что даже под ноги забывал смотреть и пару раз чуть не упал. Торговец, видно, думал, что это потому, что я так заслушался, мое внимание ему, наверное, льстило, потому он и рассуждал, не умолкая... А я-то ждал случая вклиниться, и вот наконец задал свой вопрос:

– Ты сказал, что Мир-Али и есть тот человек, который нашел моего отца возле ручья?

– Я сказал? Разве я это говорил?

– Конечно!

– Когда?

– Да вот только что, недавно!

– Нет, мальчик мой. Я этого не говорил. Ты, я гляжу, еще более рассеян, чем я, старик.

– Но разве ты не говорил, что Мир-Али следил за партийным еще до его смерти у ручья?

– Нет, я говорил «может быть»! В этих краях тысячи ручьев. По всему Азербайджану их не счесть. И на берегу их убивали десятки людей. Тот бедняга, о котором я говорил, был убит возле ручья, может, в то время, как он пил воду. Ружье он, естественно, отложил в сторону и вот нагнулся к ручью, чтобы напиться или набрать воды, тут-то его... А ведь говорят, что даже змея не кусает пьющего из ручья. Слышал поговорку? Говорят, если змея хочет укубить кого, но видит, что он пьет из реки, она подождет, пока он напьется. А человек, он еще безжалостнее змеи. Из всех зверей он самый свирепый... Но я-то, я эти края вовсе не знаю. Я в первый раз сюда завернул. Я даже имени Мир-Али не слышал. А ведь о смерти или там об убийстве новость бежит – раньше или позже узнают об этом...

Опять он пошел не в ту сторону. Мир-Али нашел моего отца возле ручья, так же как и меня. Вот единственная истина! Десятка истин быть не может. Десятки партийных людей не убивают возле десятков источников, и так, чтобы у каждого из них с собой был ребенок.

– Богом молю тебя, отвечай мне! Ты о моем отце знаешь?

Он улыбнулся, смерив меня взглядом.

– Мальчик, ты с ума сошел? Откуда мне знать твоего отца? Я и о матери твоей ничего не знаю. Я всего только бродячий торговец. Иду куда глаза глядят, по деревням, по городам. И тяжелый груз везу, заметь. Ну и слышу, конечно, новости. Но ничего больше. А есть поговорка: «Конь смерти на ногу быстр». То, о чем я говорил, это давнишние дела. Один раз пройдеши от Ардебилля до Сараба, сотни таких историй услышишь. Например, не так далеко отсюда, в деревне, двадцать пять или двадцать шесть человек, всех из одной семьи, вырезали. Совсем недавно наверняка, слышал ты. На первый взгляд, кровная месть, но говорили, что жандармы так раскинули карты, чтобы руками самих деревенских уничтожить своих же односельчан. Говорят, что люди из этой деревни в годы партийной власти убили двух сержантов. И у жандармов с тех пор был зуб на них, а потом и повод нашлся: в деревне была девушка, которую просватали в одну семью, а на нее, оказывается, был уже другой претендент вот из того самого рода. Как сватовство удалось, ему тут же – новость по голубиной почте, он на машине приехал, девушку хватить – и долой. Те на конях за ним – не догнали. Тогда жалоба, иск, говорят, обиженная сторона и жандармов подмаслила, а те возьми да и арестуй всю ту семью, заперли

их в конюшне и будто ни при чем. Дальше уже семья обиженных разбиралась сама: окружили конюшню и подожгли ее и стояли у дверей с кинжалами, кто выскакивал – по одному – убивали на месте! Говорят, всё было мозгами забрызгано и руки отрезанные еще долго находили. Или другой случай: человека повесили в холода, три дня висел, труп замерз как бревно. А как убивали предводителя шахсенов⁹ – помещика роста и телосложения великанского! Когда его к виселице подвели, крикнул: веревки у вас гнилые! И правда, повесили его, а веревка оборвалась. Он со связанными руками встает и кричит: что я вам говорил, так вас разэтак? Не говорил, веревка гнилая, – теперь видите? Привязали другую и повесили вторично – не оборвалась. У нас в городе трупы горой навалили. Сколько таких случаев! Каждый день такое случалось, а раз я туда-сюда брожу, то много и видел, и слышал. О «дне большой резни»¹⁰ я уж молчу. В тот день всё было кровью залито. Убивали, тут же бросали и шли дальше. И где могилы их, неизвестно. Вообще могил нет. Куда мертвых сваливали, никто не знает. Как вот и тот, кого убили возле ручья, не знаю, тот ли самый, о котором ты говоришь. Вроде и у него могилы нет. Несколько дней труп лежал, потом полиция нашла его – уже подгнивший, или обветренный, или, там, звери дикие что-то отгрызли от него. Но я тебе скажу, что я и женщину одну знал, которую без всякой вины убили. И в партии не была, и не работала у них. Да сколько таких случаев было!

Вдруг глаза его повлажнели, и я не понял, попало ли что-то в них с ветром. Моргал и молчал, потом продолжил говорить:

– Вот так-то! Так оно было. Сколько народу попало на удочку этих подлецов! Думали, что освобождают родину, а на деле продавали ее, да еще и задешево. Задумались бы – кому? Невевающим кяфирам – коммунистам! Коммунист – знаешь, кто такой? Это тот, кто говорит: Бога нет. Поверишь ли? Отрицают Бога большевики! Может ли что-то быть глупее, как думаешь? Но говорят, что даже само руководство не совсем понимало, какую кашу заварили для них русские безбожники. Когда поняли – поздно было. Увы! Семья пополам, голова на виселице... Вай, вай! Я сам некоторых из них видел – вот этой парой глаз моих, – когда их вели на казнь. С какой гордостью они шли! С какой верой! Они не знали еще, что их продали. Девятнадцать офицеров при мне казнили – да как казнили! Если я тебе расскажу, ты спать не будешь.

Так он говорил, а я всё не мог оторвать взгляда от его глаз: ведь его глаза казались мне зловеще знакомыми! Однако почему они не пугают меня? Почему я не вижу в них вспышек злобы?

– Ты врешь всё! – крикнул я вдруг. – Ты знал моего отца, а может, ты его и убил!

Он словно поперхнулся. Поднял кнут.

– Ах, твой отец... – хотел уже крикнуть что-то и вдруг остановился, будто одумался... – Да помилует его Бог!

Торговец казался вконец растерявшимся. Казался человеком, готовым полностью покориться судьбе, а может быть, просто очень усталым.

– Да откуда мне знать твоего отца? Зачем это говоришь?

– А глаза твои! Я твои глаза...

И вот тут он действительно хлестнул, но я успел невероятным прыжком увернуться от удара. Кнут лишь задел мне лопатку, потому вся сила удара пришлась на брюхо его же мула, и тот рванулся, и все колокольцы – от верблюжьих до козлиных – зазвенели. И что-то упало на землю и разбилось. Это был кувшин с водой...

– Так ты за мной, как собака, бежал всю дорогу – зачем? Под предлогом рубахи? Ты охотился за мной, негодяй?

⁹ Шахсены – тюркское племя в иранском Азербайджане.

¹⁰ «Днем большой резни» членов Демократической партии Азербайджана называют 21 азара 1325 г. (11 декабря 1946 г.).

Он глядел на черепки кувшина, а я держался чуть поодаль. Ждал, пока он накричится и немного остынет. Наконец он сказал:

– Ну гляди, что теперь делать? Кувшин разбился! Где я воды возьму? До следующей деревни далеко. Ты здесь знаешь ручей какой-нибудь?

– Конечно, знаю! – ответили.

– Далеко?

– Да не очень. Это как раз и будет ручей Атгули.

– А? – Он смотрел на меня с удивлением. – Это не тот ли самый, где, ты говоришь...

– Тот самый и есть.

Он оглядел окрестные холмы.

– Не думаю, что я сам найду его. Проводишь меня?

Я как-то забыл уже, что он только что меня хлестнул. Как дурак, согласился его проводить, причем вряд ли сработало то, что он мне часть денег вернул за рубашку. Мы свернули с дороги и перевалили через один холм, второй, третий, а за ним открылась лощина, по которой тек ручей. Уже издали виднелось озерцо при нем, и какой-то блеск над ним струился, словно трепетало что-то, или мерцало, или пугливо вздрагивало, а может, танцевало. Я указал рукой.

– Вон он, ручей Атгули. Теперь сам найдешь.

Старик почему-то молчал. Устал от болтовни своей? Даже зловеще как-то молчал. Но потом я услышал его бормотание:

– Атгули! – повторял он. – Атгули!

Вообще-то, я не могу поручиться, что он просто повторял имя ручья. Если быстро повторять «атгули», может слышаться «брось цветок» или еще что-то...

А может, красота места так его поразила? Края, и правда, – загляденье... Он повернулся ко мне:

– Значит, здесь тебя и нашли?

– Нуда. Говорил же.

И вдруг его глаза наполнились слезами. Теперь уже я точно знал, что ветер тут ни при чем: он расчувствовался. И трепет в этих глазах, и влажный блеск от слез, и дрожь какая-то... И опять мне подумалось: наверняка он не в себе, старичок этот. У него не было только гнева и доброты. Но и смех, и слезы тоже не различались.

– ...Что случилось, почтенный?

– Всё в порядке. Внука своего вспомнил.

– А что-то с внуком не так?

– Оказался мой внук далеко-далеко, не увидеться мне с ним.

Мне подумалось, что он имел в виду не смерть внука. Ведь в таком случае безнадежности как раз места бы не было. Старику явно было за шестьдесят, а следовательно, вскоре уже смерть придет и за ним...

– Далеко, значит, внук?

– Очень далеко... – он вздохнул. – Дальше, чем ты себе можешь представить!

Насчет этого он, конечно, не ошибался, ибо с расстояниями у меня совсем плохо. Не могу представить, что такое по-настоящему «далеко», так как сам почти нигде, кроме нашей деревни, не был. Сарэйн – где горячий источник – был самой дальней точкой моих странствий. Туда мы ездили еще до того, как народ научился извлекать из этих горячих вод деньги. До чего только не додумаются люди! Эта пара глаз моих – чего только они не видали!

– ...Ты, значит, всё время ездишь, дедушка?

– Ага, всё время.

– Другими словами, всё время в дороге?

– Именно так.

– А как же твоя жена, дети? Когда ты их видишь?

– Жена моя умерла несколько лет назад. Дочки тоже своим хозяйством живут. А до меня теперь никому нет дела. Да и мне ни до кого!

Странный человек – опять подумал я... А он словно прочитал мои мысли:

– Не приведи Аллах, и ты, как многие другие, сочтешь меня сумасшедшим! Нет, я не сумасшедший. Ни разлука меня с ума не свела, ни тюрьма, ни то, что прахом пошли труды двадцати девяти лет...

О чем он – мне опять непонятно было. Но, кажется, постепенно он приходил в доброе расположение духа, лицо его просветлело, и, может быть, он, и правда, не был безумным, и в глазах его ничего такого не было, что мне привиделось в них. Наверное, я ошибся или замечтался, ведь мне свойственно заноситься в мечтаниях. Может, и вовсе мне не были его глаза знакомы, может, и отца моего он никогда в жизни не видел, и, уж конечно, не убивал.

Снова старик начал говорить о давно ушедших временах, но я погрузился в раздумья о собственной судьбе. И, чем больше он говорил, тем меньше я что-либо понимал. Кто я такой? Откуда я появился? Что случилось у этого ручья со мной, с моим отцом и со всеми прочими?

Мы немного еще прошли вперед, разговаривая, потом я указал ему удобный спуск к воде.

– Дальше я не пойду.

– Почему? Боишься?

Не о чем мне было больше говорить с ним. Я остался стоять на месте и лишь следил, как он спускается к ручью, как постепенно скрывается за склоном холма: казалось, что лощина проглатывает его.

Потом – прежде чем вовсе исчезнуть из вида – он в последний раз обернулся и крикнул:

– Да ведь ты не знаешь: внук мой – примерно твоего возраста!

А откуда я, интересно, мог это знать?

3

Я не думаю, что вы это видели, но слышали – наверняка. Я говорю о рогах королевского оленя. Прихотливо-изгибистые и вдохновенные, как два тяжелых крыла, они распахиваются над его головой, создавая зрелище незабываемое, особенно если вы видите его впервые. Когда он еще только приближается, вы вначале замечаете вдали эти два раскинутых крыла, и вам кажется, что это птица летит низко над степью, демонстрируя настоящую красоту полета. Допустим, вы решите, что это охотится орел и снизился, чтобы схватить степного зайца. Но по мере приближения этих крыльев вы увидите также и туловище и тогда поймете, что это олень и что крылья – это на самом деле рога, а в придачу к рогам и телу у него еще есть ноги. Ноги, которые хотя по красоте уступают рогам, но они – источник его прыти, так же как рога – источник его беспокойства или даже гибели. Ведь эти рога цепляются за кусты и застревают между стволов деревьев, и олень, бывает, попадает в такую смертельную ловушку, вырваться из которой не помогут и самые сильные ноги.

Голос Балаша и был этими оленьими рогами, которыми он безнадежно зацепился и запутался...

Имя Дузгуна было на слуху, и Балаш знал его стихи. И вот однажды в здании газеты, в которой Балаш подрабатывал (а проще говоря, был разнорабочим), он пришел на прием к Дузгуну. Газета занимала дом старинной постройки недалеко от исторического «Штаба Конституционной революции»¹¹. Балаш представился как поэт, который хотел бы прочесть свои стихи мастеру и узнать его мнение. Его провели в кабинет, украшенный фотографиями Ленина, Пишевари, Саттар-хана, Багир-хана и шейха Мохаммада Хиабани.

– ...Ну что ж, читайте, посмотрим, что у вас за душой...

Балаш стал читать своим звучным, берущим за душу голосом.

Лицо Дузгуна, однако, говорило, что стихи ему не понравились. Хотя и враждебности не вызвали. Кивнув, он сказал:

– Что ж, родным языком вы владеете. А скажите-ка: на фарси вы тоже сочиняете?

– Как-то не доводилось, – ответил Балаш.

– Не доводилось? Чего же лучше? Почему мы должны писать стихи на их языке? Почему должны писать на языке, которого не понимаем? А азербайджанский что? Почему наши дети не имеют права учиться на своем родном языке? Но скоро откроются школы, которые мы строим, и выйдут из печати учебники. Хватит персам учить нас на своем языке и по своим книгам. Мы будем учить наших детей на нашем языке, по нашим книгам. Чего нам не хватает? Пусть поймут, что и наша культура богата, она существует, и ареал ее шире, чем у персидской. Причем уже давным-давно! Например, возьмите «корову» по-азербайджански! Я имею в виду слово «корова». Персы говорят «корова», и на этом точка, отстрелялись. Но на тюркском есть *авгуз*, есть *инак*, есть *джунаге*, есть *дана*, есть *пута*, – и всё это означает «корову». Вот вам отличный пример!

Балаш в начале встречи чувствовал себя очень скованно, а тут как-то воспрянул духом. Его поразило то, что говорил Дузгун, и вначале он соглашался с удивлением, потом смелее... Ему не исполнилось еще и двадцати шести лет, он всего три года назад женился, когда вернулся с армейской службы. Служил он в полицейском полку в Ардебиле, куда помог ему устроиться хороший дружок, Максуд. В Тебризе Балаш жил с родителями, в районе Чарандаб, в трехкомнатном доме, одна из комнат была его. Отец его был военным и состоял в подчинении

¹¹ Конституционная революция иранская революция 1905–1911 гг., в ходе которой в Иране возник конституционно-монархический строй: парламент (меджлис) и выборная, хотя и ограниченная, демократия. Большую роль в Конституционной революции сыграл иранский Азербайджан.

генерала Дерахшани, командира Тебризской дивизии, который потом был отдан под суд, после капитуляции армии. Отцу вот-вот должны были присвоить звание лейтенанта, но так никогда и не присвоили. Отец пожертвовал собой за него, Балаша, то есть как бы стал феедем, потому что «феедай» означает «жертвующий собой». И отец стал феедем вместе со многими простыми людьми, хотя сам с шахским режимом не имел никаких проблем, а по службе должен был бы бороться и с феедами, и с Балашем. Но он пожертвовал собой во имя Балаша, во имя своего сына, хотя тот и был во вражеском стане. Такое уж было время: лес рубят – щепки летят...

В тот день Дузгун говорил долго, стихов на азербайджанском читал много, но о стихах самого Балаша так ничего и не сказал. Лишь в конце встречи, уже собираясь прощаться, вдруг как будто что-то вспомнил:

– Кстати, до чего же твой голос внушительный! Почему ты его не используешь?

Балаш растерялся: он-то пришел со стихами...

– Голос? А какое значение имеет голос?

Дузгун вышел из-за стола. Он тогда еще был весь – напор и деловитость.

– Ты действительно не понимаешь этого? Но ведь мы сегодня – это и есть наш голос, и народ по речам только и узнаёт нас и повсюду поддерживает! Почему краткое объявление факта – того, что завтра будет подписана капитуляция Японии и закончится Вторая мировая война, – перетянуло на нашу сторону огромные массы людей? Повсюду начались демонстрации и митинги. Все вдруг стали за нас. В Ардебиле, Хое, Сарабе, Маранде, Такабе, Зенджане... Даже в Гиляне! Почему? Из-за трех фраз в газете? Да ведь народ наш устал от угнетения. Нам нужна справедливость. Нам нужно, чтобы богатства страны использовались по справедливости и чтобы рабочие места тоже были доступны всем. Нам нужны школы, дороги, больницы. Мы хотим, чтобы нас замечали и помнили о наших правах. Чтобы мы могли читать на родном языке, писать на нем... Ведь весь народ скандировал: «Пишевари, Пишевари, за собою нас веди!» Целые города «ура» ему кричали! Не по какому-то недоразумению, а потому, что слышали в его речах голос свободы и голос требования права, – поэтому нас поддерживают! А ты говоришь, «какое значение имеет голос»? Говоришь сегодня, когда мы так еще должны прибавить громкости, чтобы не только весь Иран, а и весь мир нас услышал! Чтобы не только режим Кавама – Пехлеви, но все мировые режимы слышали бы нас, пусть они даже глухонемые. И вот в этих условиях наш добросовестный гражданин, который сам пишет и читает стихи на азербайджанском, приходит ко мне и говорит, «зачем нужен мой голос»?!

Дузгун похлопал руками и продолжал:

– Посмотри, какое достоинство у наших сограждан! Задумывался ли ты, что только голос и останется даже тогда, когда мы все исчезнем, – голос твой останется!

Последние слова Дузгуна заставили Балаша по-настоящему задуматься, а затем и понять, что его собеседник прав. Действительно, остается лишь голос, пусть даже долетевший изда-лека. Честный голос обязательно коснется народного слуха. Даже не сомневайся в этом. Голос не исчезает, как и Бог не исчезает.

В этот день Дузгун – быть может, непроизвольно – сказал, что они должны исчезнуть. Однако кто тогда мог предположить, что исчезнут они столь быстро? Через год и считанные месяцы всё распалось! Всё! Всё это государство, и весь их порядок, и все их дела и планы. Государство их официально возникло в декабре 1945 года, и в том же месяце декабре – но уже 1946 года – оно официально ушло из жизни. Именно тогда, когда вообще-то следовало праздновать первую годовщину, и праздник этот уже запланировал Чашм-Азар, который был не только главой радиокомитета, но и, так сказать, оком партии... Но вместо праздника пришлось проводить поминки по погибшим! День 11 декабря 1946 года вошел в историю как «день большой резни». Сколько голов попало тогда в петли виселиц, сколько искромсали, сколько пуль пробило души чистые и души грязные! Перед расстрельными командами люди стояли с такой верой в победу, примеров которой в истории мало. Эти люди были счастливы, погибая!

Быть может, потому, что они были молоды, ведь, если бы пожили подольше, догадались бы, что всё, что с ними происходит, было лишь чужой игрой... Но как просто их обманули и как просто – с какой небрежностью – их убили! Бессмысленные смерти! Подлый обман, в котором, как всегда, жертвами становятся простые люди, хотя и некоторые вожди тоже поплатились. Например, те, которые стояли перед Багировым¹² и требовали оружия, чтобы вернуться на родину и продолжать сражаться, а этот субъект – глава советского Азербайджана – повторял раз за разом: вы потому потерпели поражение, что не порвали окончательно с центральным правительством. Он не сказал: потому потерпели поражение, что мы вырвали из-под вас опору; потому что, как гласит поговорка, старая корова вытащит арбу из грязи. И Кавам – этот старый политик – взялся за дело и слетал в Москву и дал слово (которое никогда не было выполнено), что правительство уйдет в отставку, а на выборах сформируется новый меджлис... Может, всё это для того только, чтобы напомнить советским старую истину: предательство наказывает само себя...

Не думаю, мальчик мой, что эти слова имеют для тебя какое-то значение. А потому вернемся к Балашу...

Дузгун спросил:

– Кем ты работаешь?

– На базаре Тебриза, торгую разносчиком.

– Разносчик на базаре? Чем конкретно занимаешься?

– У меня тележка с примусом. Жарю картошку и продаю с хлебом и зеленью. Продаю людям, которые хотели бы пообедать и поужинать подешевле.

– И при этом ты пишешь стихи?

– Пишу, когда вдохновение приходит...

Продолжая расхаживать по кабинету, Дузгун сцепил руки на затылке. Балаш не мог понять, о чем тот думает, и вдруг вновь увидел перед собой поэта, глядящего ему глаза в глаза.

– Забудь о тележке с примусом! С сегодняшнего дня забудь о базаре! Завтра с утра приходи на радио! С таким голосом ты можешь быть диктором. Да еще любовь к поэзии. Может быть, и в газете буду тебя печатать. Для начала заметки, и вообще, наверняка ты сможешь писать.

Балаш был изумлен.

– Не знаю, – ответил он. Но Дузгун поощрительно сжал ему руку, чтобы придать ему уверенность.

– А я уверен, что сможешь. Многие большие писатели начинали с газетной журналистики. Может, и ты станешь писателем и покажешь наш великий народ и трудности, которые он преодолевает во имя свободы людей и Ирана. Как всегда, тяжесть эта легла на Азербайджан... Ведь ты, конечно, слышал о Шолохове? Михаил Александрович Шолохов! Автор «Тихого Дона» и многих других книг – кое-что здесь переведено, но его главный шедевр – пока еще нет. В СССР его ставят рядом с Максимом Горьким. И ты знаешь, с чего начинал Шолохов? С газетной работы! Писал о заготовке леса для газеты «Правда», работал со сплавщиками леса на лесопилках, потом – использование древесины в судостроении и так далее. Это вначале, потом, во время войны, – репортажи с фронта, в общем, стал великим национальным писателем, изображал труд простых людей.

Балаша впечатлила широта интересов мастера. Дузгун не только знал о крупных советских писателях, но и до мелочей доходил: например, как правильно произносить по-русски слово «правда»? Балаш лишь значительно позднее понял – увы, слишком поздно для себя, –

¹² Багиров Мир Джафар Аббасович (1895–1956) – советский политический деятель. С 1921 г. председатель Чрезвычайной комиссии, ГПУ, нарком внутренних дел, председатель Совета народных комиссаров Азербайджана (1921–1933). 1-й секретарь ЦК и Бакинского комитета КП(б) Азербайджана (1933–1953). Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1953 г. По приговору коллегии Верховного суда СССР расстрелян как сообщник Берии.

что «правдой» в жизни бывает и нечто другое... Например: человека в городе Миане хватают и волокут на виселицу за то, чего он не совершал, – вот правда! Подвергнуться жестоким пыткам... Стать не просто феем по названию, но способным на жертву, способным сделать всё, чтобы спасти то, что осталось, то, что еще можно спасти... Оказывается, не зря говорят: груз поднимает сильный, а боль выдерживает добросердечный.

Но в тот день речь шла у них о другом...

– Мне знакомо имя Шолохова, – сказал Балаш, – но вообще-то я всего лишь начинающий поэт-любитель. Читаю я маловато...

Дузгун сунул ему под мышку два последних номера «Азербайджана» и, выводя его из кабинета, напутствовал:

– Молчи! Ни слова больше не говори! Я лучше вижу, кто ты на самом деле. Завтра утром будь у приемной Мир-Гасема!

– А кто это? – осмелился спросить Балаш.

– Мир-Гасем Чашм-Азар! Глава радиокомитета!

И вот Балаш вышел на улицу, едва понимая, где он и что с ним происходит. Он и имени-то Чашм-Азаране слышал, и вообще радио не очень любил – только литературные передачи. Например, когда Дузгун сам читал свои стихи. Балашу особенно нравились такие его стихи, как «Помни меня», – стихотворение, кстати, напоминало ему поэзию Дехходы¹³. Он и газету-то «Азербайджан» нес, которую он получил, как большую ценность, не потому, что мог бы из нее узнать новости о Демократической партии, о ее полезных делах или о последней речи Пишевари, о том, куда и зачем прибыл генерал Гулам Яхья. В газете ему хотелось прежде всего прочесть литературную страницу. Но этого хотелось ему, а судьба полагала иначе, и вот уже «оленьи рога зацепились за толстый сук»...

Он не запомнил, во сколько ему было сказано прийти на радио, и поэтому пришел в семь утра. Обжигающей стужей дуло со стороны гор, мороз кусал уши и нос. Зима укрыла снегом не только горные вершины, но и целиком склоны гор, видных из Тебриза. В такую погоду на базаре на товар Балаша был большой спрос. В старинном крытом рынке народ собирался вокруг его примуса, и люди с удовольствием протягивали руки к огню, грея их, вдыхали пар жарящейся картошки. При этом они еще и просили Балаша «почитать бейты», не зная, что он читает только под настроение, когда на сердце тяжесть, или, наоборот, когда хочется распахнуть душу, или когда вспомнится что-то, вспомнится милое прошлое, прекрасное прошлое... Он был ребенком, он был двухлетним милым мальчиком – что еще он мог сказать о себе? Ничего значительного, кроме того, что тогда родители не могли сказать ему «нет», и если он просил что-то прочесть, то ему читали – только не надо грустное – хорошо, не буду грустное – это всё равно грустное, нет, это хорошее... Потом, через год, на государственной границе, возле реки, возле деревянного моста, он тоже попробует читать стихи, нужно будет только сосредоточиться, вспомнить рифмы, вспомнить мелодию строки... Вот феед, водитель трактора, песню пытается спеть, и сводят с ума эти обрывки стихов... Но сейчас Балаш перед дверью радиокомитета, и он ходит, и топчется, и всё смотрит на охранника в дверях, и вот один за другим появляются люди, закутанные от холода, и кивают охраннику или жмут ему руку, и входят внутрь, а Дузгуна всё нет...

А потом поднимается солнце, но холод всё также невыносим, и Балаш уже не может понять, как он держится на таком морозе, и уже он говорит себе: «Неужели так и не появится?» – и вдруг слышит голос:

– А ты чего тут мнешься?

¹³ Деххода Али Акбар (1879–1956) – иранский писатель, ученый, революционер. С 1906 г. издавал сатирический журнал «Труба архангела Исфаила».

Он оборачивается: это Дузгун. В пальто и в русской меховой шапке – эту шапку Балаш позже в редакции газеты будет рассматривать на вешалке, и Дузгун войдет, как бы застав его врасплох, и скажет:

– Чего так вздрогнул? Если нравится тебе – она твоя!

И Балаш опять, как в их самую первую встречу, будет мямлить что-то и краснеть от стыда, почему-то он не умеет красиво выходить из таких ситуаций, например, сказать, мол, обдумываю статью, или найти еще какую-то изящную фразу, хотя бы сказать, мол, размышляю о том, где буду через неделю, или: да я вообще, честно говоря, о другом задумался, на шапку не смотрел... Вместо этого он улыбнется и скажет: «Благодарю, учитель! Но для моей головы она слишком велика!»

И теперь уже настанет очередь Дузгуна как-то смутиться, что ли, и посмотреть на него с удивлением. А Балаш – наверное, потому, что сам был смущен и напряжен рядом с тем, кого он очень уважал, – в тот момент не поймет, в чем дело, но лишь почувствует, что слова его не понравились Дузгуну, словно кольнув его, или тот в них захотел увидеть какой-то намек – в то время как Балаш ничего подобного не имел в виду, ведь он, сам не объясняя себе причин этого, чувствовал громадное уважение не только к стихам Дузгуна, но и ко всей его личности...

– ...Разве я не сказал: у приемной Чашм-Азара?

Балаш молча указал глазами на охранника.

– Не пропустил тебя?

Балаш кивнул, а Дузгун, проводя его мимо охранника, заметил тому с улыбкой:

– Попадет же тебе! Почему моего гостя заморозил до смерти?

Они прошли через двор и поднялись по лестнице. Здесь Дузгун оставил Балаша перед одной из дверей, за которой сам скрылся. После довольно долгого ожидания появился юноша.

– Пожалуйста, идите за мной.

И Балаш пошел за ним, не спросив, кто он и куда его ведет. Они спустились в подвал и открыли обитую кожей дверь, за которой их встретил седой пожилой мужчина. Юноша сказал ему:

– Господин Чашм-Азар распорядился срочно сделать вот для них пробную запись голоса.

Пожилый мужчина, видимо звукооператор, указал Балашу на кресло.

– Садитесь, сейчас я всё объясню.

И Балаш сел перед черным микрофоном, с которым ему суждено было провести столько времени. Старик ушел в комнату за стеклом, вскоре вернулся.

– Всё готово к записи... Мне вам дать текст или сами что-то прочтете?

– Мне всё равно, – ответил Балаш... У него как-то кружилась голова; казалось, он вступил в страну чудес. Старик положил перед ним номер «Азербайджана».

– Читайте! Любой отрывок, какой хотите. Только не быстро, спокойно и размеренно. Следите за моей рукой, я подам сигнал, когда начать и когда закончить. Понятно?

И Балаш читал новости из газеты о введенных в строй дорогах, и о строительстве большой больницы, и о том, что обширные земли отдаются крестьянам. Всё это время он следил за жестами старика-оператора, и вот: знак закончить чтение, конец работы. И ему выдается листок бумаги, и он не знает, что там написано, примут его или нет. Но оператор выглядит довольным.

– Отдайте, пожалуйста, в секретариат господина Чашм-Азара. Это и всё, что от вас требуется.

«Всё, что от вас требуется»... Точные слова!

4

Я слышу журчание воды. Этот звук явно не только сегодняшний, но приходит словно бы также из далекого прошлого. Журчит вода ручья, затерянного в некошенных полях, где среди трав торчат султанчики полевого хвоща, прикосновение которого приятно до болезненности. Особенно в эту влажную погоду на этой сыроватой земле возле ручья, где прямо перед глазами скачут лягушки и прыгают в воду, отчего летят брызги и мочат лицо. Но холодные эти брызги вызывают скорее удовольствие... И были еще бабочки, живущие рядом с водоемами, они иногда порхали, иногда садились на высокие травы, напоминающие хвосты лошади, слегка качающиеся и закрывающие лицо от солнца, чтобы оно не било в глаза. Запах пороха уже развеялся, как и этот голубоватый дым, что постепенно уплыл прочь. И уже забывается гром выстрела – единственное черное пятно, которое как бы еще висит на этом солнечном дне, но уже вытягивается, и бледнеет, и как бы уходит... Но и он уходит. Был тоже и отец там! Взгляд мой как-то сам упал именно на это место, где журчал родник, и тек по камням, и собирался в озерцо, а затем водная гладь исчезала в камышах. Отец уже не глотал воду, припав к роднику, и вода, которая текла в озерцо, уже не была красной. А может, и была, но я уже повернулся лицом к небу – вроде той черепахи, которая если лежит на спине, то ей трудно быстро перевернуться обратно, – и не видел цвета воды. Однако я еще мог слышать его стон и его слова, хотя и глухие, какие-то отрывочные:

– Я сгорел... О Боже, я горю!

Словно этот голос хотел умереть раньше его владельца. Всё это я хорошо помню, даже запах влажных трав и запах коровьего навоза – свежей его лепешки тут, неподалеку, она еще не успела засохнуть. И над ней вьются мухи, и я слышу их жужжание и вижу их крылышки, у некоторых они такого цвета, что не скажешь, синие они или зеленые.

– Булут! Булут! Ты где?!

Голос теперь доносился яснее и говорил что-то новое. До сих пор он повторял только: «Я сгорел... О Боже, я горю!» А теперь он долетает откуда-то с ближнего холма или из лощины. Неужели, кроме меня, никто не слышал его? Или притворялись, что не слышат?

– Булут! Эге-гей! Ты где?

Опять этот голос, и он стал еще ближе, он уже не от ручья идет. И это не голос отца. Нет, не отцовский!

И вдруг я весь заледенел. Точнее, я пришел в себя и осознал, что я весь заледенел, так что даже и не мог встать со своего места. Неужели и раньше я принимал за него чьи-то чужие голоса?

С трудом я поднялся на ноги, в низинке, образованной руслом ручья. Я словно врос в землю, так трудно было выпрямиться. Осмотрелся и увидел, что ко мне идет Аршам. По траве, не по тропинке.

Я не ожидал его здесь. И, просто чтобы не молчать, крикнул ему:

– Эй! А ты что делаешь в этих краях, парень? – Я и в самом деле был удивлен.

– К тебе пришел! – ответил он.

Я еще был весь во власти тех воспоминаний о ручье.

– Тебе не идет быть таким заботливым, – сказал я.

– Время было. А когда оно есть, можно быть и заботливым.

Он какой-то расстроенный был. Неужели рухнули его планы отъезда?

– Нет, я серьезно. Чего это ты вдруг из деревни притащился в такую даль?

– Да не мог я на это смотреть!

– На что?

– А ты не знаешь?

– Нет. Я же тут с утра раннего. А что случилось?

– Да бык Маш-Энаята! Не знаешь, что ли? Тот, белолобый.

– Ну и что с ним? Подох?

– Нет, парень, – ответил Аршам. – Хотя я думаю, он бы сам предпочел подохнуть, чем дожить до этих дней...

Я ждал пояснений, но Аршам медлил. Поняв, что я ничего не знаю, решил потомить меня. А вообще он всегда такой. Спроси его, например, о дереве, так пока он не опишет все до единого листочка и сучка, он о самом дереве ничего не скажет. Поэтому я объявил ему:

– О чем бы ты ни рассказал, я выслушаю, но при условии: если ты сразу начнешь с конца.

Он махнул рукой:

– В деревне сейчас холостят быка Маш-Энаята!

– Нет! – невольно воскликнул я...

Я вспомнил, что этот зверюга-бык в последнее время всем давал жару. Мне самому он порвал или окровавил четыре пары штанов, или того заплатанного старья, которое я называю своими штанами. От рогов этого быка нигде и никому не было спасения! Сам хозяин, Энаят, постоянно хромал, а когда его спрашивали, где у него болит, лишь ругался и потрясал своей палкой.

– Так вот оно что!

– Да, брат, такие дела!

Аршам был так расстроен, что вначале не хотел ничего рассказывать, но постепенно разговорился и поведал обо всем: об оглушительном бычьем реве и о том, как люди из любопытства высыпали на крыши домов. Бык сегодня ни на кого не нападал, напротив, охотник сам стал жертвой. Мужчины завалили его на землю загона, покрытую навозом, и пытались спутать ноги, но не могли. Уж очень силен был бык, да и боялись они его! Пасть его была в пене, и тот единственный выпученный глаз, который был виден, увеличился до размеров пиалы. Второй-то глаз был вдавлен в землю, в навоз... И мужчины отчаянно пытались не дать ему вывернуться и не могли совладать, и от дыхания быка пыль и сухой навоз поднялись клубами, от рева – хоть уши затыкай – пена летела с губ... Энаят причитал: «О Аллах! Вы что, каши не ели, мужики здоровые?! С быком не справиться?!» А сам уже орудует своим инструментом для корчевки кустов, пытаясь добраться им до того местечка, которое, видимо, и было причиной всех проблем, до того самого, что и не позволяло быку превратиться в осла, покориться и опустить голову, и слушать приказы, и таскать грузы, и пахать землю, – вместо того чтобы расшвыривать рогами не самых плохих людей деревни.

Друг мой Аршам не думал, что превращение быка в осла может быть столь некрасивым зрелищем, которое не вынесет даже такой жестокосердный человек, как он.

– Слышал бы ты его рев! Стены дрожали! Мне кажется, даже когда их на мясо забивают, нет таких мучений...

Оскалив зубы, Аршам шел сквозь овечье стадо, не глядя по сторонам, и от волнения прихрамывал. Такая у него была привычка: вздергивать вверх правое плечо, такой он был с детства, чуть кособокий, что ли. И вдруг он резко сменил тему разговора – это тоже была одна из его привычек:

– Повезло тебе, что Мир-Али далеко! Ты ведь спал, парень?

– Нет, куда там, – ответил я. – Разве можно тут спать? Чуть зазеваешься, овцы зайдут в люцерну, обожрут, потом они лопнут.

– Значит, ты не спал?

– Говорю, не спал. Прилег просто.

– А голос мой не сразу услышал, негодяй!

Я рассмеялся:

– Я думал, только Миран ко мне придирается, а ты еще хуже!

Он тоже засмеялся:

– Да уж, натерпелся ты от него, это точно...

Я поднял с земли свой пастуший посох, и мы вместе с Аршамом обошли стадо, сгоняя разбредшихся овец кучнее.

– ...Натерпелся? Это не то слово. Он меня сумасшедшим делает. Как замечу его издали, у меня в мозгу такое... Будто вижу убийцу моего отца. Знаю, что идет, чтобы цепляться ко мне. Сам Аллах бы, если бы захотел напоминать о своих благодеяниях так часто своим чадам, и то легче сказал бы: «Займись своими делами! Нам от тебя ничего не надо!»

– Да, характер у него не сахар. Разве не так? Ведь и Хадиша он поколачивает?

– Это да. Но как меня увидит, тут он весь злобой изойдет.

Солнце еще не поднялось в зенит. Со стороны гор дул мягкий ветерок, принося запах сжатых хлебных полей, запах распаренной, теплой земли. Пахло и картошкой: начало осени, время копать ее.

– Ты сам не даешь ему поводов, да?

Я почувствовал его иронию. Сегодня был один из тех дней, когда, кажется, полжизни отдашь за возможность поспать. Ветерок гнал по небу легкие облачка, которые порой закрывали солнце, бросая приятные тени.

– Да говорю же, я просто прилег. Задумался.

Он искоса посмотрел на мое заспанное лицо и на мои – наверняка – припухшие веки.

– Но выглядишь ты усталым.

– Полночи вчера картошку возили, – ответил я. – Как не устать! Домой пришли – все замертво упали.

– А на сегодня нельзя было оставить?

– А как же выкопанную картошку оставить в поле? Мы ведь не для воров трудимся.

– Зачем тогда всю выкопали?

– Откуда мне знать! Не я команду.

Мы с Аршамом сидели на холмике из камней, которые за многие годы мы натаскали сюда, очищая поле. Внизу холмика мыши нарыли нор. И вот мне представилось, будто я своими глазами вижу быка Маш-Энаята с его глазами, выпученными в страхе, ярости, ужасе, в то время как Энаят пускает в ход свой инструмент для корчевки кустов, это две палки, скрепленные не то цепью, не то прочной веревкой, которые он обычно втыкает в землю под корни куста и вырывает куст сорняка, как бы ни были густы его корни, – и уж, конечно, можно тем инструментом вырвать семенники быку со связанными ногами, вырвать, или, точнее говоря, вытянуть, может быть, еще точнее, – выкрутить, может быть, еще точнее, – выдрать, выдать наружу, чтобы уничтожить эту непокорность, эту строптивость, эту самонадеянность... – И вот он из всех своих сил оглушительно ревет, и пена летит изо рта и из ноздрей...

– Да ты как будто засыпаешь!

– Точно, засыпаю! – ответил я. – Хадиш половины моей работы не сделал, а утром спал как мертвый. Именно как мертвый. Его несколько раз будили – не слышит, ну и вот, как всегда, досталось мне. Он ведь любимчик, сокровище Мирана... Мойщик трупов их побери!

– Так что, коров не выгоняли сегодня?

– Нет. Миран сказал, дадим им сена. Любимчика своего не стал мучить.

– С другой стороны, и в степи теперь для коров почти нет травы, – сказал Аршам. – Скоро заморозки начнутся. Тогда будете выгонять только овечье стадо, на пару с Хадишем. Тебе облегчение будет.

Он сам знал, что это не так. Ведь Хадиш – сам по себе груз, да еще не из легких. Я ничего не сказал Аршаму. Смотрел вдаль, туда, где ветер ерошил гриву травы на гребне холма. То самое место, где он отдал бы душу за то, чтобы раздался звучный голос и позвал за собой...

– Наверное, каждый бы на его месте вел себя так же, – сказал Аршам. – Ну представь себе: у него рождается пять дочерей одна за другой, а сколько обетов, сколько молитв! Мама говорит, он своего единственного сына сразу стал баловать.

– Если бы он чуть раньше родился, – ответил я, – мне бы так тяжело не пришлось. Миран отпустил бы меня и занялся своими делами.

– То есть ты думаешь, что Мир-Али тебя потому усыновил, что уже не чаял дожидаться своего сына?

– Нет, – ответил я. – Думаю, не так всё просто.

Хотя я, сколько ни размышлял, не мог понять, как всё могло сложиться иначе.

И я опять словно бы вернулся к тому ручью, невольно.

Миран нашел меня у ручья Атгули. Возле труп моего отца. Кто был мой отец и куда он направлялся – этого не знал никто. Никто не знал, ни как его зовут, ни откуда он пришел, как попал к нам и почему был убит. Болтали об этом много, не поймешь – правду или ложь. Даже при мне болтали, я слышал.

– ...Это из беглых, в розыске. Шел к границе. И у него был конь и оружие!

– Из-за коня и ружья его и убили.

– Убийца свел с ним счеты. Личные! Никакой политики не было.

– Но почему именно здесь убил?

– Кто теперь знает? Может, он давно за ним шел, а там место укромное. Может, узнал, что он хочет бежать за границу, и решил посчитаться, пока не ускользнет...

– Нет, всё было не так. Отец Булута свернул к ручью, чтобы набрать воды. Отложил ружье и наполнил флягу или кувшин. Нападавший это увидел – он издали наблюдал. Решил украсть ружье, но завязалась драка, и тот был убит из собственного ружья. Пуля вошла в грудь и вышла со спины. Однако умер он не сразу. Он еще дополз до родника, чтобы напиться, и выпил столько воды, что из дырки от пули текла уже не кровь, а вода.

– И вроде бы звал на помощь... Истекал кровью, а всё кричать пытался.

– Следы от крови долго еще оставались на сухой траве. Кровь, видишь ли, так просто не исчезает!

– Мир-Али сам рассказывал, что видел всадника, скачущего прочь, а из-за плеча или, там, из-под мышки торчало дуло ружья. Поскакал в сторону гор.

– А Мир-Али что там делал?

– Он охотился на перепелов. Раскинул сеть на земле и разлегся рядом с ней. Старым армяком накрыл голову, чтобы его не видели, и посвистывал, как перепелиная самка. Как будто на третьем свисте уже прилетели перепела, как вдруг грянул выстрел, и перепела – улетели. Мир-Али выругался, вскочил посмотреть, что там такое.

– А почему же долговязый сержант спрашивал: вы, мол, уверены, что вчера он был убит? Почему-то думал, что покойник давний.

– А как он мог быть давний? Разве Мир-Али сам при этом не был? Разве не там он ребенка нашел?

– Может, для них один день на земле лежал, уже значит давний.

– Нет, говорят, что убийца не знал, что есть ребенок. Убил взрослого, потом нашел ребенка, лежавшего на траве.

– ...Ты опять замечтался? Что с тобой?!

Это уже был голос Аршама – Амира, как я его звал по-дружески. Я посмотрел на него, прикидывая: сказать ему это сейчас или нет? Ведь он скоро уедет, может, мы вообще больше не увидимся. Значит, если говорить, то сейчас. Но я остановил сам себя. Нет, оставлю на потом, на более удобное время.

– Так ты говорил о быке Маш-Энаята?

– Да всё я уже сказал. Ушел из деревни, чтоб глаза мои не видели.

– То есть они еще не закончили?

– Да, так быстро не кончится.

Что-то с шумом пронеслось мимо. Я обернулся: коричневый комок перекаати-поля. Эти шаровидные кустики осенью, при созревании семян, отрываются от корня, и их гонит ветер по степи. В хорошем настроении я, бывало, ловил эти шары и лакомился семенами, по вкусу похожими на кунжутные. Это – одна из тех штучек, которые узнаешь, когда много бываешь в степи, и я сам это узнал, никто меня не учил. Но сегодня с утра настроение было плохое, и я раза три или больше слышал голос, который кричал что-то или кричал именно мне, или звал куда-то, и я не мог понять, откуда он приходит, что говорит, чего он хочет от меня и от моей души. И как он связан с теми глазами, которые я никак не могу забыть. Глазами мужчины, уходящего прочь и уносящего с собой что-то, что не принадлежало ему, и он твердо, крепко держал это «что-то» своей длинной большой рукой. Иногда он оборачивался и глядел назад – но не на меня. Он словно всё еще боялся, что тот, кто ведь еще был жив, – хотя в нем уже почти не осталось жизни, это был бессильный окровавленный мешок, – тот мужчина встанет и кинется в погоню за ним, и отберет коня и ружье, или, например, вдруг у него есть пистолет, и он успеет в последний момент, отдавая Богу душу, забрать жизнь и того, кто в него стрелял. Тук! Стук-стук!

Это Аршам начал скатывать камни. Я схватил его за руку.

– Что делаешь? Работы мне прибавляешь? Зачем курган разбираешь? Вместо того чтобы потить, лучше скажи, чем кончилось твое дело: едешь ты или нет?

Он сразу как будто вспомнил, зачем пришел ко мне. Он был счастлив. Взял плоский камень и кинул им в хохлатого жаворонка, только что севшего на куст верблюжьей колючки. Жаворонок вспорхнул и полетел прямо в горы. Туда, где собирался туман... И я знал, что к вечеру этот туман превратится в морось, дождик, который прольется над деревней. Амир лукаво заглянул мне в глаза.

– А ты думаешь, зачем я здесь? Только про быка рассказать? С сегодняшнего дня я уже не деревенский. Свободен как ветер. Завтра уезжаем в ту деревню, где тебя не смогу часто видеть. Поэтому я и подумал прийти сюда, чтобы поговорить перед дорогой.

И он начал приплясывать и пощелкивать пальцами:

– Итак, мы едем, товарищ! Поручения будут?

Меня охватило плохое предчувствие, которое приходит порой в туманную погоду.

– Значит, и правда уезжаешь? Счастливый ты! Как отец отпустил тебя?

– Отпустил потому, что расходы уполовинились. Ведь Гадер тоже едет, и договорились, что будем жить с ним вместе, в доме их старушки-родственницы. Гадера ведь ты знаешь?

Я его никогда не видел, но знал, что это одноклассник Аршама в последние годы их учебы. Сам Гадер был из деревни Альварс, и они с Аршамом ездили вместе в Сарэйн, где закончили девятилетку. А я с Аршамом учился вместе в нашей деревенской начальной школе три года тому назад в шестом классе; да и то, можно сказать, с боем. Только по настоянию учителей, за которое, не знаю, должен ли я быть благодарен или нет. Миран не дал бы мне возможность учиться дальше. И до сих пор он уверен, что я специально так подстроил: попался на глаза учителям чтобы напомнить им о себе и натравить их на него... Миран не знал, что это было чистым совпадением, тем самым, которое иногда случается и ничего с ним не поделаешь. Это напоминает встречу двух людей в сырой день, когда один человек идет в горы, а второй сидит возле дымного костра и, допустим, наблюдает за воронами, они кружатся в небе и порой спускаются в клубы дыма, а потом опять взмывают вверх; эта их игра наводит пастуха на мрачные мысли о том, что где ему угнаться за воронами, крадущими колоски с полей после жатвы... Сегодня никто не выгнал в степь стадо, потому что вся деревня занята другим делом, делом повторяющимся: через несколько или даже через много лет происходит одно и то же, потому что в прошлый раз работу не доделали как следует... И вот опять необходимо из могил

вытащить мертвецов, без всякого порядка, без всякого, можно сказать, снисхождения к тем, кому придется вновь их возвращать, – а как возратить то, что перепуталось до невозможности? Большой палец одного воткнулся в шею другого, и кто теперь должен это исправлять, и кто за это в ответе? Хлынул, мол, сель. Который все разрушил. Ну и что, что хлынул сель? Это ведь не уважительная причина. Бывало и похуже, и бывало не раз... А разговоры почему-то лишь о тех, кто оказался не на своем месте. Но так уж заведено, и ничего тут не попишешь...

В тот день господин инспектор направлялся в город. Вроде бы это был четверг. И у нас тогда еще была собака, маленькая такая и вся черная с ног до головы. Позже ее убило молнией на том самом склоне горы, где мы часто собирали грибы...

Стадо в тот день паслось у реки, а я сидел на белом плоском камне и так задумался, что ничего не видел вокруг. Даже не обращал внимания, что собака громко лает. Лишь когда она подбежала ко мне, я осмотрелся и увидел, что мимо по дороге идет человек. Я его сразу узнал по военной фуражке. Имя этого человека у всех было на устах. Это был тот самый, кто порол нарушителей порядка в школе, а также уклоняющихся от школьного обучения. Таких он вылавливал с невероятной энергией, удержу ему не было: горы, перевалы – ничто не помеха. Первого же коня, встретившегося на пути, он хватал, вскакивал на него и мчался. Лошадей загонял до смерти. Беглецов притаскивал в деревню как воров или кого похуже, а там уже и скамейка стояла во дворе школы – на ней-то и пороли, и положенное количество ударов по голым пяткам выдавали.

Вот эта пара глаз моих – чего она только не видала!

В самый первый день – открытия школы – уполномоченные собрали всех мужчин деревни и потребовали от них документы на детей. Люди, когда поняли, что это не в армию забирают, охотно принесли все бумаги. Но тут-то и началась неразбериха. Некоторые принесли документы не свои, а тех умерших, за которых они привыкли себя выдавать. А у некоторых бумаг – даже паспортов – вовсе не было. Кроме того, были и просто документы умерших, на которые никто не претендовал. В общем, непонятно было, кто жив, а кто умер: всё перемешалось. Господин инспектор очень сердито кричал:

– Почему вы не аннулировали документы умерших? Не понимаете разницу между живым и мертвым? Почему не даете им упокоиться как следует?

А люди смотрели на него так, будто более удивительных слов в жизни не слыхивали.

Тогда, поняв, что от одних бумаг толку мало, инспектор потребовал от всех мужчин по памяти назвать имена детей и их точный возраст – это было нужно для зачисления в школу. Так образовалось то, что называли словом «лист». В этом «листе» мое имя отсутствовало, и, видимо, никто не считал, что оно там должно быть. Включая меня самого...

– ...А я тебя в школе не видел!

– Я не хожу в школу, господин инспектор.

– Сколько тебе лет? – спросил он.

– Восемь.

– Чей ты сын?

– Ничейный.

– Ничейный? – переспросил он. – Так зовут твоего отца? – Видимо, он столько наслушался наших странных деревенских имен, что и впрямь на миг подумал: это еще одно.

– Нет, господин инспектор! – объяснил я. – У меня отца нет.

– У кого ты живешь?

– У Мирана.

Мне казалось, что к именам у него было такое же отношение, как и к паспортам.

– Миран? А это что за имя? – он опять нахмурился.

– Иначе говоря: Мир-Али, господин инспектор!

– Мир-Али или Амир-Али? Вы, деревенские, так коверкаете, что до сути не доберетесь.

– Не знаю, господин инспектор, народ говорит «Мир-Али».

– А кто говорит «Миран»?

На этот вопрос я не ответил. Не мог же я ему сказать, что и у меня тоже есть имя. Он косо взглянул на меня, мне показалось, что он немного рассердился.

– Миран, Мир-Али, Амир-Али – как бы ни звали этого поганого человека, скажи ему, чтобы послезавтра взял тебя за руку и пришел в школу, а там мы выясним, почему ты не посещаешь школу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.